

■ ЛЕВ СЛАВИН ■ ■

ЛЕВ СЛАВИН

**ПОРТРЕТЫ
И
ЗАПИСКИ**

Г

ЛЕВ СЛАВИН



ПОРТРЕТЫ
и записки

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1965

Москва



Лев Славин — известный писатель, автор пьесы «Интервенция», романа «Наследник» и многих других книг, издавна пользующихся популярностью. В книге «Портреты и записки» собраны его воспоминания о писателях — Ю. Олеше, И. Ильфе, Е. Петрове, Э. Багрицком, М. Кольцове, Вс. Иванове, В. Кине, Б. Лапине, З. Хацревинне, Н. Лурье, А. Платонове.

В очерках «Последние дни фашистской империи» Л. Славин, который участвовал в штурме Берлина, рассказывает об агонии гитлеровского рейха, об уличных боях, о последних сражениях войны, о том, как была подписана капитуляция. Записки «Свидание с Польшей» посвящены жизни наших соседей — поляков, их нравам, быту, культуре.

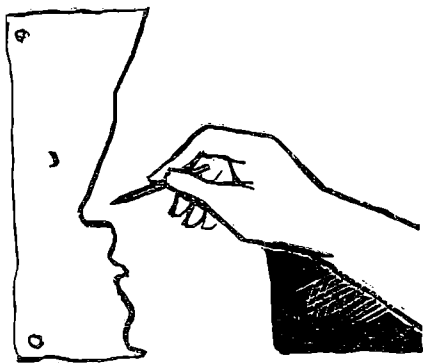
СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТРЕТЫ

Мой Олеша	7
Ильф и Петров	28
Багрицкий	44
О Лапине и Хацревине	52
Кольцов в Испании	69
Три восхищения Всеволода Ива- нова	85
Андрей Платонов	95
Ной Лурье	101
Виктор Кин	105
Мраморная доска	113

ЗАПИСКИ

Последние дни фашистской им- перии	119
Свидание с Польшей	183



ПОРТРЕТЫ



МОЙ ОЛЕША

Переулок был похож на подзорную трубу — длинный, узкий, а в дальнем конце, как на линзе объектива, сияющий круг моря.

За углом — мореходное училище. Необычная вывеска — якорь, вписанный в спасательный круг, — волшебным образом преображала этот заурядный дом. В самом названии переулка слышалось что-то стивенсоновское: Карантинный.

Спустя много лет Юрий Олеша уверял меня, что даже свет воздуха был там совсем иной, чем на других улицах.

— То есть цвет!

— Нет, именно свет! — настаивал Олеша своим непреложным голосом.

Когда вышли его «Избранные сочинения», я прочел в очерке об Одессе:

«Здесь совсем особый свет воздуха... От стакана воды, принесенного в комнату, становится прохладнее и свежее. А тут столько воды, море...»

Ришельевская гимназия была в другом конце города. Она

называлась так в честь основателя города герцога Ришелье. Памятник ему стоит на Приморском бульваре. Герцог изображен с венком на голове и в античной хламиде. Вид у этого полуголого мужчины, как у многих ложноклассических скульптур, при всей их торжественности, несколько банно-прачечный. В городе он был очень популярен, не герцог — памятник. Его фамильярно называли: «дюк». Дюк по-французски — герцог. Но в Одессе «дюк» означало — хмурый дурак, унылый недотепа. «Молчит, как дюк». «Что ты сидишь, как дюк?»

Трамвай довозил от Карантинного переулка до самой гимназии. Но Юра предпочитал прodelьвать этот путь пешком. Он шел по Греческой улице. На Строгановском мосту он замедлял шаг. Три параллельных моста висят над шумной портовой улицей. Лестницы каменными спиралями сбегают вниз.

Юре нравилась многоярусность этих мест. Снизу выросал большой дом. Он побурел от времени и похож на старый форт. Верхний этаж его дотягивается до моста. На дверях висела табличка: «Пароходство А. А. Трапани». Туда от моста вел узенький отросток. Юра вступал на него. Он чувствовал под ногами это гулкое пространство, ему мнилось, что он шагает по упругой воздушной сфере, он ощущает себя канатоходцем.

Потом он пересекал Пушкинскую улицу, обсаженную царственными платанами, чьи листья вырезаны в виде короны. Потом — Греческий базар, набитый рыбными запахами, бильярдами, трамвайными звонками.

На некоторых тротуарах были плиты, которые Юра считал приносящими счастье и старался ступать по ним. Другие он осторожно обходил. Даже в старших классах он сохранил эту привычку. Спohватываясь, смеялся. Но, задумавшись, снова машинально перешагивал через роковые камни.

Директор Дидуненко, высокий господин с черной бородкой и с блестящими штатского генерала в петлицах вицмундира, бла-

госклонно отвечал на поклон маленького гимназиста с упрямым и сильным лицом. Украшение гимназии, первый ученик, золотой медалист! Мог ли действительный статский советник Дидуненко предвидеть, что этот сгусток добродетелей за порогом гимназии превращается в бунтовщика, в ниспровергателя мещанского благонравия!

Это было восстание учеников против учителей, детей против отцов, мятеж против удушья обывательского мирка. Это была обратная сторона золотой медали.

«Блажен, кто, начиная мыслить, охранен наставником... У меня наставников не было».

Такими прекрасными и грустными словами писатель Юрий Олеша вспоминал свое отрочество.

Рвались кто куда, не зная пути. Юра, как и друг его юности Эдуард Багрицкий, слепу ударился в эстетизм. Но пришла революция, сдунула эту политуру красоты и развернула иной маршрут.

Багрицкий принял его раньше и решительнее. Он всегда тяготел более к простонародным кварталам: к Дальницкой, к Пересыпи, к Сахалинчику, к грузчикам, к железнодорожникам с их исконными бунтарскими навыками.

Впоследствии, вспоминая о Багрицком, Олеша писал:

«Может быть, Багрицкий наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму».

В сущности, Олеша писал это и о самом себе, хотя его путь был обрывистее.

Тот же город, но не тот раскрой его. С одной стороны Одесу омывает море, с другой — степь. Степь украинская, море многоязычное. А среди украинских сел были болгарские, немецкие, еврейские, эстонские земледельческие колонии.

В самом городе много чехов — музыкантов и латинистов, много немцев из гимнастического общества Турн-Ферейн, из школ «Анненшуле», «Паульшуле», англичан из Индоевропейского телеграфа. Из клуба «Огниско» Ольга Владиславовна Олеша приносила польские книги. В оперном театре почти ежегодно играли итальянцы. О, Баттистини! О, Карузо!

И все же Одессу нельзя было назвать космополитической в том дурном смысле этого слова, который был придан ему вскоре после второй мировой войны. Всё: «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений» — сплавлялось в мартене великой русской культуры. Украинский язык был под запретом. Царское правительство вставило кляп в рот украинской культуре. Только после резолюции мы впервые узнали все очарование Тычины и восхитились мощью Хвильового.

Но, конечно, на Одессе при всей национальной пестроте ее лежал явственный украинский отпечаток. В крестьянском хлопце, в капитане дальнего плавания, в университетском профессоре вдруг проглядывал сохранившийся во всей чистоте тип запорожца из казацкой сечевой вольницы — весь этот сплав удали, юмора, силы, поэзии. В «Коллективе поэтов» с нами вместе начинали Владимир Сосюра и Микола Микитенко.

Большая и не очень опрятная квартира, брошенная бежавшими буржуями и ставшая трофеем поэтов. Здесь происходили ежевечерние литературные бдения. Впоследствии в своих воспоминаниях об Ильфе Олеша писал о «Коллективе поэтов»:

«Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьезно работали. Это была школа».

У этой школы был свой стиль. Ей предшествовала другая «школа» — университетский литературный кружок «Зеленая лампа». Руководил «Лампой» профессор Лазурский, старый шекспи-

ролог. Кружок был основан как учреждение вполне академическое. В самом названии его есть оттенок классицизма. Но очень скоро старый шекспировед стал похож на возницу, у которого понесли кони.

«Коллективом поэтов» никто не руководил. Здесь не было авторитетов. Но был бог: Маяковский.

Олеша был верен своим страстям. Поклонение Маяковскому он пронес через всю жизнь. Одну из последних его статей, опубликованную уже посмертно, можно было бы назвать: «Объяснение в любви Маяковскому». Она очень олешинская — его рука, его впечатлительность, его способ помнить. Но в то же время эта статья Олеси отражает ту влюбленность в Маяковского, которую испытывало все наше поколение.

Двери «Коллектива поэтов» были широко открыты. Сюда приходили художники, артисты, ученые и просто странные люди. У одного из них через много лет Олеша взял имя для героев «Зависти»: Бабичев.

Имя и некоторые черты. И для Андрея, и для Ивана. Ибо в странном посетителе «Коллектива поэтов» дивным образом соединялись черты обоих братьев. Это был самый благовоспитанный сумасшедший на свете.

О безумии его вы догадывались, только когда посреди увлекательного разговора он вдруг сообщал вам все теми же корректными интонациями учтивого человека, что он председатель коммуны земного шара, а кроме того, как бы по совместительству, Антихрист.

— А жена моя, наоборот,— Тсирхитна,— добавлял он с тихой улыбкой.

И он разводил руками несколько извиняющимся жестом, как бы говоря: вот ведь какая бывает порой игра природы...

Иногда его встречали на рынке, где он самым прозаическим образом торговал слесарным и столярным инструментом, ибо с

безумием Ивана Бабичева он соединял практичность Андрея Бабичева.

Завидев кого-нибудь из нас, он мгновенно скрывался. Псих, а все-таки он понимал, что базарная торговля несовместима с престижем Антихриста. Исчезал он с непостижимой быстротой и потом объяснял нам, что сделал это посредством присущего ему дара «внепространственного транспорта». Олешу восхищало чисто звуковое сочетание этих слов.

Нас предостерегали от Бабичева, говорили, что иногда он бывает буен. Но бедный безумец привязался к нам и всюду ходил с нами, как прирученный гепард. Один раз его неистовство все же вырвалось на волю.

Это случилось ночью. Большой зал «Коллектива поэтов» полон. Лампы не зажжены. Но светло от луны, прущей в широко открытые окна.

Бабичев играет на рояле. Он был хорошим музыкантом. Он импровизировал. Это было нечто нежное, чуть печальное, почти баюкающее. Внезапно — град безобразных бессмысленных звуков.

Бабичев вскочил, не переставая барабанить. И вдруг он поднял руки и заревел. Ни с чем невозможно сравнить этот рев. В нем были мука смерти, и разгул садизма, и бешенство убийцы. Он ревел, кривляясь и корчась в лунном сиянии. И это было так отвратительно и страшно, что все стали разбегаться. А я, Илья Ильф и Павел Мелисарато выбежали в соседнюю комнату, захлопнули дверь и придвинули к ней большой дубовый стол.

Тяжело дыша, мы переглянулись. Ильф чуть сощурился и сказал:

— Это из него заревел Антихрист.

Нам стало смешно и немножко стыдно. Мы отодвинули стол и вошли в зал.

Через него шла молодая белокурая женщина. Ее вел Олеша. Со стула за роялем бесформенной кучей свисал Бабичев. Женщина взяла его за руку. Он поднялся и покорно поплелся за ней. Это была его жена и антипод — Тсирхитна. Ее вызвал сюда Олеша, единственный из всех нас, кто не растерялся.

Он тоже испугался, как все мы. Но преодолеть страх ему помогла его доброта.

В своих воспоминаниях о Маяковском Олеша, между прочим, пишет: «Он был, как все выдающиеся личности, добрый человек».

Олеша и сам, несмотря на неожиданные порой выбрыки своего темперамента, был добр большой человеческой добротой. Это не бросалось в глаза из-за других, более поражающих черт его личности — ума, таланта, проницательности.

Но именно доброта придавала особый отблеск его обаянию. В одном из своих выступлений я назвал Олешу «солнцем нашей молодости». Это не риторическая фигура. При том, что в нашем тогдашнем кругу наличествовали столь блистательные таланты, как Ильф, Катаев, Багрицкий, Шишова (о которой Олеша сказал: «Она талантливее всех нас») и некоторые другие («Таланты водятся стайками», — сказал Олеша), никто не мог сравниться с Олешей во власти его над нами — власти его вкуса, его артистизма, его воображения, власти его доброты.

В двадцатых годах мы всей бражкой работали в газете «Гудок». Мы были доверху набиты железнодорожными терминами. Олеша даже в псевдонимы себе избрал название слесарного инструмента: Зубило. Он писал острые стихотворные фельетоны.

{Замечу, кстати, что и в дальнейшем Олеша, которого временами пытались изобразить оторванным от жизни мечтателем, всегда тематически оставался в русле современности. Почти все его произведения — о современной ему действительности. Даже

«Три толстяка» в сказочной форме разрабатывают наиболее mogućую социальную проблему нашего времени. В сущности, всю жизнь Олеша продолжал линию Зубила в высоком плане.)

Вскоре имя Зубило стало знаменитым. Он получал сотни писем. Появились даже самозванцы — Лже-Зубилы. Олеша-Зубило собирал на своих выступлениях огромные аудитории.

Он выступал в железнодорожных депо, в паровозных цехах. Ничего не может быть более волнующего, чем эти длинные гулкие пролеты, заполненные рабочими, которые взбирались на станки, на вагонетки, на подъемные краны. Какой театральный зал может сравниться с такой аудиторией!

И все же это была не та слава, о которой мечтал Олеша.

Его роман «Зависть» и пьеса «Список благодетелей» породили целую критическую литературу. Олеша стал предметом и темой диссертаций, дипломных работ в Одессе, в Москве, даже в Колумбийском университете в США. Но и это все еще не была та слава, о которой он мечтал.

В его мечте о славе было что-то детское, наивное, театральное. Он жаждал шума вокруг себя, чтоб на него указывали пальцем на улице, как на Толстого: «Вот Олеша!»

Его обошли орденом. Он страдал.

Даже мелкие обиды самолюбию терзали его. Как-то я встретил Олешу в Союзе писателей. Он сидел в приемной. Из кабинета то и дело выходили и входили многочисленные руководители Союза. Олеша сказал мне с горестным изумлением:

— Они даже не здороваются со мной...

Между тем еще при жизни вокруг Олешы стала складываться атмосфера легендарности. Книги его расходились мгновенно. Его стремление к совершенству восхищало людей. Его изречения передавались из уст в уста. Люди искали с ним встречи, ибо общение с Олешей доставляло наслаждение. Многие прилеплялись к нему и становились его спутниками с постоянной орбитой во-

круг него. Так действовал его талант, и в лучшие свои минуты Олеша был полон истинного величия. Но он не замечал этого и завидовал славе Дюма-отца, которого он презирал.

Театр привлекал Олешу не только как жанр, не только резкостью конфликтов и свободой сценической речи (а Олеша был мастером диалога, поистине королем реплик), но и как наиболее осязаемая форма славы. Книги — бумага. Кино — полотно. А тут драматург заставляет живых людей действовать по его творческой воле.

Он быстро подружился с Мейерхольдом и увлек его в свою любимую Одессу. Они поселились у моря. Олеша с восторгом слушал, как Мейерхольд, оглядывая рыжую приморскую Большешэфонтанскую степь, говорил, что она похожа на бурые холмы Кадикса.

Они восхищались друг другом. Но у Олеша не было ложных богов. Неохотно, но все же он признался мне, что Мейерхольд дополнил «Список благодетелей» своими поправками, выбрасывал одни эпизоды, перемонтировал другие.

Легко ли было переживать это писателю, который каждое слово вбивал, как убойный молоток!

Блеск олешинского диалога виден и в кино. Особенно в лучшем, на мой взгляд, сценарии Олеша «Болотные солдаты». Фильму этому повезло: он был хорошо поставлен Александром Мачеретом, а в главной роли великолепно выступил Менжинский. Не повезло этому фильму только у прокатчиков: они почему-то упорно скрывают его от народа, хотя «Болотные солдаты», несомненно, принадлежат к числу вечно цветущих произведений искусства.

Свои вещи Олеша писал очень медленно, с мучительным тщанием работая над постройкой каждой фразы. Поэтому для

заработка он брался за исправления и усовершенствование чужих работ. Он писал диалоги для сценариев, делал инсценировки, переводы.

Иногда и эти ремесленные поделки под его рукой превращались в маленькие шедевры.

Наружность Юрия Олеши была приметна. Мне всегда казалось, что он похож на свои писания. Широкогрудый, невысокий, с большой головой гофманского Щелкунчика, с волевым подбородком, с насмешливой складкой рта, с острым и в то же время мечтательным взглядом двух маленьких синих светил, Олеша действительно имел в себе что-то сказочное. «Король гномов» — так назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем эту сказочность и царственность.

Есть неверные изображения Олеши. Однажды я встретился с попыткой сравнить его с героем романа «Зависть» Кавалеровым. Большое заблуждение! Если и есть в Кавалерове что-то от Олеши, то только в том смысле, в каком Флобер на вопрос, с кого он писал мадам Бовари, ответил: «Эмма — это я».

В воспоминаниях другого писателя Олеша изображен чудакотым странником с котомкой и палкой, нечто среднее между Платоном Каратаевым и Григорием Сковородой. Нет ничего более далекого от истинного образа Юрия Олеши. Он был, что называется, светский человек. Даже когда он ходил в поношенном костюме, он сохранял свободу и грацию человека с превосходными манерами.

Совсем непригоден для изображения Юрия Олеши стиль туманных загадочных неясностей, сквозь которые его образ брезжит мистическим мерцанием. Велик соблазн казаться глубоким, удаляясь в таинственную муть вычурного пустословия! Олеша был конкретен, веществен, и метод неотчетливых, размытых, по-

тусторонних намеков противоположен самому существу Олеша, наиболее земному из всех, кого я знал.

Конечно, изобразить Олешу трудно. Дело не только в физических его чертах. Как передать текучесть его существования, противоречивость и переменчивость его души, смену психологических бликов, непрерывность движения жизни! Как уловить его музыкальный ключ, весь этот контрапункт ума, изящного лукавства, завораживающего полета мысли!

Я корю себя за то, что я не записывал все свои разговоры с Олешей. Ведь занятия литературой — это только частный случай деятельности его мозга, который творил всегда.

Олеше был чужд прием снижения. Он любил Ильфа, дружил с ним, превосходно о нем написал:

«Ильф и Петров — первоклассная величина в развитии нашей культуры».

Но иногда он говорил с неудовольствием:

— Почему у них столько неприятных подробностей, какие-то кишечки, бородавки, уродства...

Олеша и сам был остер на язык и, когда хотел быть беспощадным, обрушивал на собеседника шквал эпитетов такой убийственной меткости, что тот находил спасение только в бегстве.

Но этот свой сатирический дар он и близко не подпускал к своим произведениям. Он считал этот жанр низменным. Его влекло на философские высоты и в поэтическом, и в интеллектуальном смысле. Это был поэт-мыслитель.

А бешеное свое остроумие и зоркую бытовую наблюдательность он оставлял для житейской болтовни, для товарищеского трепа, для множества забавных устных сценок, импровизированных застольных скетчей.

Так однажды появился зародыш словаря Любоедки-Эппочки, впоследствии с таким блеском развитый Ильфом и Петровым, и некоторые другие интересные находки, которые Олеша легко

раздаривал окружающим не потому, что он был таким уж щедрым, а потому, что не считал их ценностью. Низменный жанр... А он любил высоты. Но не все могли дышать их разреженным воздухом.

А для Олеси состояние некоторой приподнятости было естественным.

Случилось как-то, что Ольга Густавовна Олеша легла в больницу. Когда Юрий Карлович пришел навестить ее, врач отвел его в сторону и предупредил:

— Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но ваша жена заговаривается. Мозговые явления... Это пройдет!

— А что же она говорит?

— Она говорит, что медсестры похожи на ангелов Гирляндаймо...

— Конечно! — вскричал Олеша. — Светлые одежды, скользящая, как бы летающая походка, милосердное выражение лица. Оля права!

Это был любимый рассказ Олеси — о двух способах видеть, о двух мироощущениях.

Когда он рассказывал его, в его голосе как бы звучали фанфары.

Приподнятостью, даже театральностью своего поведения Олеша напрашивался на сравнение его со спектаклем. Человек-спектакль. Он был отгорожен от мира несколькими занавесами. Иногда раздвигался только один, иногда — еще один, редко — все.

Я читал в рукописи интересные воспоминания Э. Казакевича об Олеше. Высоко расценивая его, Казакевич в то же время с некоторым осуждением отзывается об излишне снисходительном отношении Юрия Карловича к иным людям, снисхождению не заслуживающим.

Я знаю, что Олеша и Казакевич любили друг друга. Когда-то, за несколько лет до войны, Олеша дал один из примеров своей удивительной пронзительности. Он предсказал, что Казакевич когда-нибудь будет боевым офицером. Каким образом Олеша разгадал в тихом еврейском юноше будущего лихого разведчика, в этом тайна зрения Олеша.

Но слова Э. Казакевича о якобы «снисходительности» Олеша означают только то, что Казакевич не побывал за самым последним занавесом в душе Олеша. Вот там Казакевич не посетовал бы на его снисходительность. Там он навиделся бы молний и наслушался бы громов!

Есть мнение, что Достоевского с его визионерством, с его мучительными резекциями души, с его обостренным вниманием, направленным на самого себя, Олеша предпочитал всем другим художникам.

Это заблуждение основано на неполном знании Олеша.

«Это писатель, против которого можно испытывать злобу» [Ю. О л е ш а. Избранные сочинения, стр. 423].

«...Драма Раскольникова не вызывает того живого страдания [разрядка Олеша.— Л. С.], которое вызывает драма Позднышева» [Там же, стр. 423].

«В «Идиоте» есть сцена, в которой Настасья Филипповна бросает деньги в огонь... ситуация очень неубедительна... Поступок, обратный тому, который все ожидают, — вот излюбленное обстоятельство Достоевского... и видно, что оно отражает черту характера самого Достоевского... Черта эта антипатична... вызывает во мне раздражение» [Там же, стр. 424].

Это написано Олешей в 1931 году.

И вот через два десятка лет ему предлагают сделать из «Идиота» пьесу.

Он записывает в своем дневнике с некоторым смущением:

«Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским [пишу инсценировку «Идиота»]. Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему — люблю, не люблю!»

Что же делать? Притворяться? Но ведь своеобразное коварство искусства состоит в том, что в нем невозможно солгать. Ложь сразу видна: она плавает на поверхности.

Олеша выходит из положения тем, что он о л е ш и з и р у е т Достоевского. Он снимает с него черты нереальности, случайности, немотивированности. Он делает из романа драму самолюбия.

Помните отзыв Олеси о диалоге Достоевского!

«Какое обилие сослагательных наклонений в диалоге Достоевского! Бы-бы-бы! Это бьющийся в судорогах диалог!» («Избранные сочинения», стр. 424).

Я встретил Олешу неподалеку от театра после спектакля. На лице его были следы того радостного возбуждения, которое всегда давал ему театр, аплодисменты, весь этот шум нарядной публичности. Он взял меня под руку и сказал, насмешливо кивнув в сторону театра, осторожно озираясь и голосом заговорщика, хотя поблизости никого не было, просто из любви к игре:

— Они думают, что это реплики Достоевского. Это м о и реплики!

— Юра,— сказал я, остановившись,— но по отношению к Толстому вы этого не позволили бы себе!

— Конечно нет,— сказал он серьезно.

Длинная прогулка. Зимний вечер. Крупные снежинки. Мы стоим на углу улицы Горького и Пушкинской площади и никак не можем расстаться. Говорим, говорим...

Он предлагает зайти в ресторан ВТО и выпить. Я отказываюсь и объявляю, что я «сгусток воли».

Он хохочет и кричит, что я «стакан рефлексии».

В это время мимо нас проходит Х., высокий, в бобрах. Он демократически кивает нам:

— Привет!

И не останавливается.

Но по косому, быстрому и завистливому взгляду, который он бросает на нас, видно, что ему очень хочется остановиться, поболтать с нами, пойти куда-нибудь посидеть вместе. Но он спешит важничать в президиуме какого-нибудь заседания, и, вообще, наше общество это не то...

— Вы неправы,— задумчиво говорит Олеша.

Он умолкает. Он на секунду погружается в ту «страну вни-мания и воображения», о которой он писал в «Вишневой косточке».

— Вы неправы,— повторяет он.— Скорее, он постеснялся, оробел, побоялся, что мы будем не рады ему. Он стал пуглив. И у него есть основания для этого, вы знаете. Мне жаль его. В нем есть подспудная честность. Как пороховой погреб. Если она взорвется, он погибнет.

Я вспомнил этот разговор, когда Х. покончил с собой.

Откуда шла эта пронизательность! (Вспомните предсказание о Казакевиче.)

В Олеше каким-то очень естественным образом соединились мудрость и детскость. Ему уже было около сорока лет, когда он написал:

«...До сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым».

И в другом месте, в «Заметках драматурга»:

«В людях не угасает детское».

Он сохранил это ощущение до конца. Михаил Пришвин когда-то писал о «детском богатстве народной души». Олеша был обладателем этого богатства. И от этой детскости возникало в нем

как бы первовиденье жизни. И — как отдача этого — пронзительная свежесть образов.

Многие считали это художественной манерой Олеши. Конечно, тут есть и плод сознательного усилия. Но как развитие того, что глубоко лежало в натуре Олеши.

Его глаза действовали, как электронные микроскопы, они вскрывали внутреннюю структуру явления или человека. В самом банальном и в самом загадочном куске жизни он умел разглядеть его сокровенный смысл, ускользавший от других.

В Олеше было бесстрашие исследователя. В искусстве оно называется реализмом.

Ничего не может быть более неверного, чем утверждение, что в последний период своей жизни Олеша замолчал.

Каждый день он садился за стол и в течение нескольких часов своим ровным, круглым, отчетливым почерком писал то, что он называл: «мой роман».

Он состоит из множества миниатюр. Обширное здание это осталось недостроенным. Но в нем видна цельность. Некоторые из миниатюр принадлежат к шедеврам нашей литературы, например «Маска», «Девочка-акробат», «Костел».

В этом произведении (общее название его: «Ни дня без строчки») с особенной силой, как мне кажется, сказались свойства художественного зрения Юрия Олеши. Он как бы остановил движение времени, как останавливают часы, чтобы рассмотреть механизм в подробностях. Это нелегко. Это не каждому дано.

Но Олеша силой своего таланта остановил мир, расчленил его и принялся рассматривать его в деталях, как часовщик. Он превратил макромир в микромир.

И в этих микрочастицах оказалось существо большого мира.

«Ни дня без строчки» — произведение революционное и по содержанию и по форме. Да может ли быть иначе? То обстоятельство, что, скажем, Пикассо коммунист, а Мальро ренегат, и определило, с моей точки зрения, их судьбу, как художников: величие одного и падение другого.

Не поэтизирую ли я Юрия Олешу?

Мне могут сказать, что я не в состоянии отвлечься от своих личных отношений с Олешей. Но я знаю, что давние связи, идущие в глубь годов, позволяют судить о старом друге более глубоко, более объемно, более справедливо.

Я ведь вижу отчетливо и его слабости, моменты затемнения.

Не раз биографы писателей останавливались перед вопросом: публиковать ли частную переписку писателей?

Пушкин был против этого. Мопассан тоже.

С их мнением не посчитались. Скрыть частную жизнь писателя никогда не удавалось. Огромный интерес общества к жизни писателя пробивал все защитные преграды.

Откуда этот интерес! Одно ли обывательское любопытство!

Нет. Он идет от отождествления работы писателя с назначением учителя жизни. Как бы писатель от этого ни отгораживался, сколько бы он ни заточал себя в «башни из слоновой кости», как только он взял перо в руки, он тем самым принял на себя представительскую миссию. «Шопот, робкое дыханье» — это тоже программа жизни. Каждая книга неизбежно проповедь, как каждый портрет неизбежно автопортрет.

Многое в Юрии Олеше было, так сказать, противоположно быту. И когда одним он казался вдохновенным и творчески увлекательным, в этот же самый момент другим он мог показаться неудобным в общении, колючим, нарушающим привычные нормы существования, беспокоящим — так же как причиняет беспо-

койство поэзия, которой тоже ведь невозможно все время жить, как нельзя все время дышать чистым кислородом.

Бабель был человек трезвой жизни. Олеша любил опьянение. Иногда мне казалось, что он намеренно глушит в себе мысль, чтоб отдохнуть от ее сложностей.

Он сказал как-то, подтрунивая над собой:

— Толстой бежал в опрощение, а я — в упрощение.

Его удаление в антибыт выражалось не только в этом. Он не придавал никакого значения деньгам. Он легко брал их и легко раздавал.

Он до того боялся впасть в бытовое описание, что никогда не мог изобразить любовь. Один раз он всерьез принялся за это. Рассказ так и назывался: «Любовь». Дескать, смотрите, это рассказ о любви, не ошибитесь! Но название не притянуло искусства.

Пламенная душа Олеша, полная любви, инстинктивно остерегалась изображать ее всуе.

Я присутствовал при том, как Олеша разговаривал с начинающим писателем. Это было поучительное зрелище. На такие беседы следовало приводить студентов Литературного института, как, скажем, студентов медицинского института приводят на операции выдающегося хирурга.

Олеша взрезал каждую фразу и препарировал каждое слово.

— Вот вы описываете осень так, — говорил он: — «Деревья погрузились в золотой сон о весне». Хорошо это сказано или плохо! Сейчас разберемся.

Тот начинающий парень уже еле дышал от волнения.

— Вам самому этот образ, вероятно, очень нравится! — продолжал Олеша своим звучным голосом, и слова вкусно скатывались с его языка, отточенные и веские, как галька одесского по-

бережья.— Что же вам нравится в этом образе! «Золотой» — цвет осени! «Сон» — то есть не смерть, а спячка!

Парень облегченно вздохнул и благодарно посмотрел на Олешу. Он плохо знал его.

— Но, — продолжал Юрий Карлович, уставившись на юношу и как бы подвергая его гипнотизирующему действию своих маленьких, глубоко утопленных, синих, неумолимых глаз, — разве вы не чувствуете, что это образ ложный, что в нем есть слащавая красивость, что он жеманный, вычурный и в общем пошловатый!

Он всегда внашал молодым ребятам, что сила слова не только в его образной наглядности, а сверх того и главным образом в значительности мысли и в глубине переживания. Конечно, можно говорить о вкусе слова Юрия Олеша, как можно говорить о вкусе звука Святослава Рихтера. И все же главное у того и у другого — никогда не смиряющаяся буря духа. Это и сообщает прозе Олеша ее возбуждающую силу.

Его оценки, которые он выстреливал своим решительным, безапелляционным тоном, были поучительны не только для начинающих. Для меня не было большей радости, чем получить от него похвалу. Впрочем, иногда они окрашивались личным отношением, хотя большей частью Олеша достигал в них высшего беспристрастия. Он и к своим работам относился с большой строгостью. Такой неистовый в своих устных эскападах, в писаниях своих он был скромнен до самоуничужения.

Случалось, проходили годы, он ничего не публиковал. Но это не были годы молчания. Это были годы поисков, непрерывной, я бы даже сказал — неистовой работы, бесконечных проб, вариантов.

Даже в ранних вещах стиль Олеша был свободен от влияния тех поветрий, которые пронеслись временами в нашей литературе. Пространные диалоги Хемингуэя, солдатский пафос Кип-

лингва, первая скороговорка Ремарка, инфантилизм Сарояна, уличный жаргон Сэлинджера — все, что порой отлагалось на слоге отечественных эпигамов, ни в малейшей степени не задело Олешу. Да и не могло задеть. Стиль его — естественное выражение его сокровенной сути.

В последние годы он (как и Бабель) стал писать проще. Исчезли эффентные выражения, вроде «гремящая буря века» и т. п.

Он высоко ценил прозу Хлебникова. И призывал — в своем маленьком задиристом предисловии к «Зверинцу» Хлебникова — учиться у него. Но тут же прибавлял:

«Если вообще нужно учиться у кого-нибудь. Главное — талант и здоровье».

Он воображал, что здоровье его так же несокрушимо, как его талант, что сердце его так же молодо и мощно, как его мозг. Он вел атаки на свое сердце. В конце концов оно не выдержало.

Он одновременно хотел быть и нищим и миллионером. Нищим, чтобы продемонстрировать свое презрение к материальным благам (главное — в духовном!). Миллионером, потому что он любил пышную, украшенную жизнь. Незадолго до смерти он воскликнул звучным, полным жизни голосом:

— Снимите с лампы газету! Это неэлегантно!

— Я ведь не такой, как другие. Я ведь устроен иначе, — говорил Олеша полушутя.

Но под этой шуткой жила вера в свое бессмертие. Физическое!

Это привилегия и признак молодости — не верить в свою смерть. Олеше тогда шел седьмой десяток.

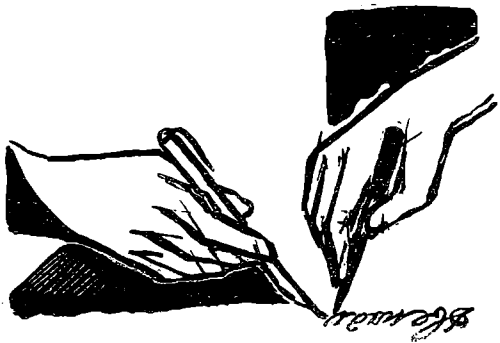
Однажды он вернулся с прогулки в плохом состоянии. Он жаловался на боль в сердце.

Он сказал:

— Я почувствовал, как будто кто-то вошел в меня.

Какой страшный в своей точности образ!

Он лежал спокойный, сильный, красивый. На лице его была важность мысли. Да, оно пришло к нему, это лучшее из свойственных ему выражений. Казалось, он жив. Спит? Нет! Размышляет. Состояние, наиболее присущее ему.



ИЛЬФ И ПЕТРОВ

В записках этих рассказано больше об Ильфе. Евгения Петрова я знал не то чтобы меньше, чем Ильфа, но иначе. С Петровым я был хорош. А с Ильфом близок просто биографически — общая молодость. Отсюда некоторая количественная неравномерность в воспоминаниях. Только отсюда, а отнюдь не от предпочтения одного из этих писателей другому.

Но от той же былой близости с Ильфом вспоминать о нем труднее. Бывает так, что то, что ты считаешь главным, в глазах другого не имеет значения. А иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости — такие, казалось бы, крохотные подробности существования — в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа.

Но вот опасность, пожалуй, самая распространенная в этом жанре воспоминаний: незаметно для самого мемуариста его рассказ о почившем друге перерастает в воспоминания о самом

себе. Как бы мы негодовали, если бы скульптор, создавая памятник писателю, придал ему свои черты! А в мемуарной литературе такая подмена портрета автопортретом не раз сходила писателям с рук.

Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим — и образ этого особенного человека будет огрублен и оболган, как это, между прочим, бросается в глаза, когда читаешь некоторые воспоминания о Чехове.

Недавно я наткнулся на подтверждение этой мысли в воспоминаниях вдовы Бунина, В. Н. Муромцевой-Буниной. Она пишет в своей книге «Жизнь Бунина»:

«Перед смертью ему (Бунину.— Л. С.) попалась эта книга — «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге: «Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.».

Как это ни странно на первый взгляд, но Толстой со всей своей гениальной сложностью и бурной противоречивостью гораздо явственнее и правдивее встает в воспоминаниях современников, чем Чехов. И это понятно. Толстой очень мощно, очень кипуче самовыявлялся. А к Чехову пробиться трудно сквозь броню его сдержанности, его деликатных иносказаний, его полутонов, его закрытого душевного мира.

Но и Ильф был из людей этого рода. Петрова изобразил Валентин Катаев в романе «Хуторок» в образе Павлика. Петров послужил прототипом для фигуры следователя в превосходной маленькой повести Козачинского «Зеленый фургон». К Ильфу и не подступались. Попробуй-ка изобрази этого человека, замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей веселости... Быть может, эта грусть происходила у него от сознания своей недолговечности.

Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мягкий — мягкий, но вдруг как кусанет — долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу. Ничего не может быть хуже, чем обсахаривание обלקа почивших учтивыми некрологами, всеми этими посмертными культами личности, не менее вредными, чем прижизненные. Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом мы забывали о жалости», — пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе.

Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он скорее молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчаливником. Нет, он рассказывал охотно и с блеском, но с большей охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника: какой он, «куда» он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, пронизательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей.

Между тем сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках. Когда читаешь его «Записные книжки», видишь, что ранние записи не менее блестящи, чем те, что сделаны в последний год его жизни.

В пору молодости, в двадцатых годах, Ильф увлекался более всего тремя писателями: Лесковым, Рабле и Маяковским. Надо понять, чем в то время был для нас Маяковский. Его поэзия прогремела, как открытие нового мира — и в жизни и в искусстве.

О Маяковском написано много. Но до сих пор никто еще не оценил той исключительной роли, которую сыграл Маяковский в деле привлечения умов и сердец целого поколения к подвигу Октябрьской революции, когда он бросил свою гениальную личность и поэзию на чашу весов коммунизма.

Эту первую, юношескую влюбленность в Маяковского Ильф пронес через всю жизнь. Евгений Петров совершенно справедливо пишет в своих воспоминаниях об Ильфе: «Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность». Тут же замечу, что чувство это было взаимным. Маяковский высоко ценил Ильфа и Петрова. Пьесы «Клоп» и «Баня» появились после романа «Двенадцать стульев», которым Маяковский всегда восхищался, и было бы интересно проследить, как это отношение Маяковского к романам Ильфа и Петрова отразилось в его сатирических пьесах.

Маяковский, Лесков, Рабле были как бы стихийной литературной школой, которую проходил Ильф, ибо он, как и Петров, принадлежал к тому поколению писателей, когда еще не существовало литературных институтов. Тем не менее писатели как-то появлялись на свет божий.

Тогда в Одессе было два или три литературных кафе. Одно из них носило несколько эксцентрическое название — «Пэон IV», почерпнутое из стихов Иннокентия Анненского: «...Назвать вас вы, назвать вас ты, пэон второй, пэон четвертый...»

На эстраду этого «Пэона IV» входил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым. В те годы Ильф был худым; он располнел только в последний период жизни, когда болезнь вынудила его усиленно питаться и мало двигаться; начав полнеть, он обшучивал появившееся у него брюшко как нечто отдельное от себя, вроде какого-то добродушного домашнего животного, которое лежало у него на коленях.

Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем — первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался,— поблескивая крылышками пенсне и улыбаясь улыбкой, всю своеобразную прелесть которой невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа,— в ней были и смущенность, и ум, и вызов, и доброта.

Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи: ни поэзию, ни прозу, но и то и другое, где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и словотворческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил главным образом сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычайной стороны. Но эта необычайная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека.

Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю «неожиданно», потому что Ильф никогда не проявлял «выступательских» склонностей. Это, пожалуй, и отразилось в известном афоризме Ильфа и Петрова: «Писатель должен писать». Ильф воздерживался от выступлений и в одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически-огненных обсуждений и споров. Да и позже, уже когда Ильф и Петров стали популярными писателями, эта часть — устные выступления — лежала на Петрове.

А вот в пору своей юности «допетровский» Ильф читал свои произведения хорошо. Да и не только свои. Были случаи (на моей памяти их два), когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей.

Второй случай: несколько литераторов во главе с Эдуардом Багрицким поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебос» («Меблированный остров»). Ильф играл роль одного из путников. Он вел ее изящно и весело, но быстро утомлялся. Мы тогда не подозревали о болезненности Ильфа. Это был человек с таким отменным душевным здоровьем, что нам не приходила в голову мысль о его физической хрупкости. Правда, и тогда уже прорывались кое-какие признаки ее. Он, например, не выносил длинных прогулок.

Когда веселой оравой сбегали мы с высокого обрывистого берега к морю, Ильф оставался один наверху. Мы долго видели снизу его одинокий неподвижный силуэт. В юношеском эгоизме своем мы забывали о нем. Он ждал нас. Вернувшись, мы принимались подтрунивать над ним. Ну, тут он брал свое, — кто же мог состязаться с Ильфом в остроумии! Сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами сдавался.

И только много позже, уже в период славы Ильфа, друзья стали догадываться о физической слабости его и о том, что автомобильное путешествие Ильфа и Петрова по американскому континенту, которое произвело на свет такую превосходную книгу, как «Одноэтажная Америка», имело для Ильфа такие же роковые последствия, как для Чехова поездка на Сахалин.

Впоследствии, когда Ильф стал известным писателем, жизнь его наполнилась непрерывной спешкой на всякие заседания, собрания, комиссии и т. п. Суeta эта изнуряла его, и он сказал однажды:

— Я решил больше не спешить. Опоздаю так опоздаю!

И действительно, он перестал торопиться. Но это не помогло. Он опоздал в главном: вовремя позаботиться о своем здоровье.

При всей своей хрупкости Ильф был человеком смелым. Это видно не только по его литературной деятельности. Я помню столкновения, в которых он заставлял отступать хулиганов. И ка-

жется, мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности! Да, вероятно. Он не видел в этом ничего особенного. И вообще он не любил выделяться, он терпеть не мог привлекать внимание к своей личности, — еще одна черта, между прочим, роднившая его с Чеховым. Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ и сделал на книге надпись: «Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности». Однако подчеркивать, что Ильф был скромней, — это все равно, что подчеркивать, что Ильф умел дышать. Скромность была у Ильфа, как и у Петрова, безусловным рефлексом.

Упоминаю об этом не потому, что до сих пор время от времени попадаются примитивные характеристики Ильфа и Петрова, в стиле той снисходительной аттестации, что выдал им один критик: «Талантливые и честные сатирики». И уже совершенно умилительна наивность, с какой автор неких воспоминаний о Евгении Петрове восхищается такими его качествами, как добросовестность, вежливость, искренность, внимание к человеку. Надо ли говорить, что душевное богатство Ильфа и Петрова не исчерпывалось элементарной порядочностью! В них было кое-что побольше.

К бессодержательной и высокопарной болтовне Ильф питал особенное отвращение. Напыщенные банальности немедленно вызвали в нем остронасмешливую реакцию. Как-то спустились мы с ним по лестнице «Дома Герцена» (где ныне Литературный институт). Два критика стояли на площадке и о чем-то горячо разговаривали. Мы остановились, чтобы закурить. И тут до нас донесли обрывки разговора. Оказывается, они спорили о романах Ильфа и Петрова. Один из критиков, горячась, возражал:

— Нет, вы мне все-таки скажите определенно: Ильф и Петров явление или не явление?

Ильф посмотрел на меня, усмехнулся характерной для него насмешливо-доброжелательной улыбкой и шепнул:

— Явление меж тем спускалось по лестнице. Оно курило...

Ильф — и не только он один, а вся семья, в которой он родился и вырос, — представляет собой поразительный пример той силы, которой обладает врожденное призвание.

Их было четыре брата. Ильф был третьим по старшинству. Отец их, мелкий служащий, лавировавший на грани материальной нужды, решил хорошо вооружить своих сыновей для житейской борьбы. Никакого искусства! Никакой науки! Только практическая профессия! Старшего сына, Александра, — это было задолго до Октябрьской революции — он определяет в коммерческое училище. В перспективе старику мерещилась для сына карьера солидного бухгалтера, а может быть — кто знает! — даже и директора банка. Юноша кончает училище и становится художником. Отец, тяжело вздохнув, решает отыграться на втором сыне, Михаиле. Уж этот не проворонит банкирской карьеры! Миша исправно, даже с отличием окончил коммерческое училище и стал тоже художником. Растерянный, разгневанный старик отдает третьего сына, Илью, в ремесленное училище. Очевидно, в коммерческом училище все-таки были какие-то гуманитарные соблазны в виде курса литературы или рисования. Здесь же, в ремесленном училище «Труд» на Канатной улице, ничего от искусства. Здесь только то, что нужно токарю, слесарю, фрезеровщику, электромонтеру. Третий сын в шестнадцать лет кончает ремесленное училище и, стремительно пролетев сквозь профессии чертежника, телефонного монтера, токаря и статистика, становится известным писателем Ильей Ильфом.

Нельзя не признать, что это была семья исключительно одаренная для работы в искусстве. И ничто этой непреодолимой тяги не могло остановить.

Можно только задать вопрос: стал ли бы третий сын Ильфом, если бы он в один из наиболее счастливых дней своей жизни не встретился с Евгением Петровым!

Надо сказать, что Ильфа всегда одолевали одновременно десятки тем и замыслов. Это видно и по его «Записным книжкам». Это был ум широкий, но разбросанный. Или, может быть, с трудом укладывавшийся в рамки традиционного повествования и блуждавший в поисках новых жанровых путей.

И вот тут как нельзя более кстати встретился ему на жизненном пути Женя Петров, талант уравновешенный, дисциплинированный, умевший, сочетав острую, но разбегающуюся фантазию Ильфа со своим упорядоченным и отчетливым воображением, ввести вдвоем с Ильфом все это богатство в привычное русло плавного рассказа.

В последние годы своей совместной работы они словно пронизали друг друга. Лучший пример этого слияния — целостность «Одноэтажной Америки», которую они писали раздельно. Книга эта стоит, на мой взгляд, нисколько не ниже сатирических романов Ильфа и Петрова. А местами по силе изображения и выше. Порочность общественного строя США вскрыта глубоко, и притом без вульгарного и бездоказательного окарнаатуривания американцев, а художественно сильными картинками теневых сторон «американского образа жизни». Очень высоко оценил «Одноэтажную Америку» А. Н. Толстой, который назвал ее «чрезвычайно зрелой художественно». Те же мотивы мы встречаем и в частных письмах Ильфа из США.

«Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс», — писал Ильф из Нью-Йорка. — Это пьеса из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, стра-

хов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал русский Судейкин, а играли негры. В общем торжество американского искусства».

Ильф и Петров хорошо знали американцев. «Вино,— записал Ильф в свей «Записной книжке»,— вино требует времени и умения разговаривать. Поэтому американцы пьют виски».

Во время войны я наблюдал Евгения Петрова в обществе американца. Это был известный писатель Эрскин Колдуэлл. Было это в августе 1941 года. Колдуэлл оказался единственным крупным американским литератором на нашей территории в ту начальную пору войны. Американские газеты и агентства буквально засыпали его просьбами писать о военных действиях на Восточном фронте. Евгений Петров, друживший с Колдуэллом, приводил к нему приезжавших с фронта литераторов, для того чтобы они начинали его «боевой» информацией.

Ленинградский фронт тогда освещался в печати довольно скупо, и Колдуэлл с жадностью прильнул ко мне. Это был довольно еще молодой человек болезненной наружности, с мягкими манерами. Он поразил меня двумя своими особенностями. Во-первых, размерами своего шлема. Тогда Москву бомбили, и Колдуэлл во время бомбежки надевал этот свой стальной шлем, который покрывал не только голову, но и плечи и даже часть спины. Где он достал эту штуку, я не знаю. Наверно, ее сделали по специальному заказу. Я не мог отвести глаз от этого грандиозного шлема, он меня гипнотизировал. Наконец Петров, воспользовавшись тем, что Колдуэлл на минуту вышел из комнаты, сказал мне довольно сердито:

— Слушайте, Лева, что вы уставились на этот шлем! Колдуэлл человек вежливый. Кончится тем, что он вам подарит его. И тогда вы пропали. Это же все равно, что выиграть в лотерею корову.

— Но почему он такой большой! — спросил я, все еще не в силах оторваться от шлема.

Женя свойственным ему предостерегающим жестом поднял палец, наклонил набок голову и сказал назидательно:

— Американцы любят не только свою голову. Они очень привязаны к своей спине и к своим плечам.

Вторая вещь, которая поразила меня в Колдуэлле, — это его не совсем уверенные познания в географии Европы. Когда я рассказывал ему о положении на Ленинградском фронте, выяснилось, что он не только не догадывается о существовании на свете Финского залива, но и не совсем четко представляет себе, где, собственно, расположены Финляндия и Балтийское море.

Когда мы ушли от Колдуэлла, я не скрыл от Петрова своего удивления.

— Слушайте, Лева, — сказал Петров, взяв меня под руку и заглядывая мне в лицо с характерным для него наклоном головы, — зачем ему знать географию? Американцы знают только то, что им нужно для их профессии. Колдуэлл — узкий специалист. Он умеет только одно: хорошо писать. Больше ничего. Скажите откровенно: вы считаете, что для писателя этого мало!

Не помню, что я ответил. Но хорошо помню, что меня поразило в этих словах Евгения Петрова. Меня поразило, что то же самое в этом случае, вероятно, сказал бы Илья Ильф. Меня поразило внезапно вспыхнувшее в Петрове сходство с Ильфом — через пять лет после его смерти.

Когда хоронили Ильфа, Петров обмолвился горькими словами: «Я присутствую на собственных похоронах...» И вдруг через пять лет я увидел, что Ильф весь не умер. Петров, так никогда, на мой взгляд, и не утешившийся после смерти Ильфа, как бы сохранил и носил в самом себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими «Ильфовыми» словами и даже интонациями, которые в то же время были сло-

вами и интонациями Петрова. Это слияние было поразительно. Его до сих пор можно наблюдать более всего все в той же «Одноэтажной Америке», где двадцать глав написаны Ильфом, двадцать — Петровым и только семь — совместно. Но никто не мог отличить перо Ильфа от пера Петрова. Их литературное братство стало химическим соединением, одним телом.

Трудно сказать, всегда ли так было, или это пришло с годами, но у них появились общие черты характера.

Не следует думать, что Ильф и Петров по своему положению сатириков беспрерывно острили и, не переводя дыхания, извергали из себя сногшибательные афоризмы. Люди хохочут, читая саркастические страницы их романов, осмеивающие моральное уродство обывателей. Но самих писателей эти бытовые пороки не смешили, а возмущали, мучили. Тот, кто знал Зощенко, помнит, что эта черта была свойственна и ему.

Был случай, когда долго и неудачно возились с началом одного строительства. Бездарный проект и бюрократические методы работы возмущали Ильфа, который имел возможность часто наблюдать этот объект. На строительной площадке вечно толпилось без дела множество народу. Служащих было едва не больше, чем рабочих. Уже построили дом для администрации, контору, склад. А стройка не подвигалась. Как-то, увидев Ильфа, я осведомился о положении на объекте. Он сказал с досадой:

— Все то же: вырыли большой котлован и ведут в нем общественную работу.

Я рассмеялся, но Ильф оставался мрачен.

Другой случай. Редакция «Литературной газеты». Заместителем редактора был тогда Евгений Петров. Однажды в редакцию приезжает поэт, довольно известный. В руках у него патефон. Он входит в кабинет Петрова, заводит патефон и проигрывает только что выпущенные пластинки с напетыми на его тексты песнями.

После ухода поэта Петров сказал:

— Все-таки Лев Толстой не ездил по редакциям с патефоном...

Мы все, кто там были, рассмеялись. Но Петров не смеялся. Ему было грустно.

Еще один пример. Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне:

— Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается...

Это не острота в общепринятом смысле этого слова. Это художественный образ, безжалостный в своей точности. Замечание Ильфа о котловане, так же как и отзыв Петрова о поэте с патефоном,— это не игра слов, не острота для остроты.

Надо сказать, что лексика романов Ильфа и Петрова продолжает ощутительно влиять на язык молодых поколений. Это видно и по прозе современных молодых писателей. Положительные герои в произведениях молодых авторов выражаются языком жулика Остапа Бендера. Но ведь остроумие Ильфа и Петрова было иронией совсем другого, высокого порядка. Эффект смешного у Ильфа и Петрова происходил из того, что вещи, изображаемые ими, не совпадали с распространенными и неверными представлениями об этих вещах, и с тем большей пронзительностью сатирические приемы этих писателей вскрывали самую сущность людей и явлений. Образы их были неожиданны, но точны. И в точности своей беспощадны.

С годами Ильф и Петров становились в творчестве своем серьезнее, лиричнее, глубже. Именно об этой поре вспоминает Евгений Петров в своих незаконченных набросках об Илье Ильфе: «Юмор — очень ценный металл, и наши прииски уже были опустошены». От этих слов, тоже замечательных по своей

образной точности, веет некоторой грустью: это похоже на прощание с молодостью. Иногда Ильф и Петров мечтали вслух о том времени, когда сатирики не будут нужны, ибо исчезнет самый материал для саткры. Если бы такое время каким-то чудом и наступило при жизни Ильфа и Петрова, это вовсе не значило бы, что они перестанут писать. Когда-то сходный процесс переживал и Чехов, уходя от «осколочных» фельетонов с их сатирической гиперболизацией в большую реалистическую литературу. Первым опытом Ильфа и Петрова в новом для них направлении явился очаровательный рассказ «Тоня».

Новые настроения сказываются и в письмах Ильфа из Америки. Вот отрывок из одного письма, где он описывает свое впечатление от зрелища, которое испокон веков принято считать романтически красивым и неотразимо живописным:

«...Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуаренце. Я об этом не жалею, но скажу тебе правду — это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. В программе было четыре быка, которых должны были убить две девушки-тореадорши. Быков убивали плохо, долго. Первая тореадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-тореро заплакала от досады и стыда... Особенно подлым зрелищем было издевательство над четвертым быком. Все сделалось еще унизительнее и страшнее...»

В основе разоблачительного пафоса и сатирического гнева Ильфа и Петрова лежало глубокое чувство любви к родине, подлинный высокий советский патриотизм. Вот почему их книги вызвали такую яростную реакцию со стороны международного

фашизма. С какой гордостью писали Ильф и Петров в 1935 году о варварской расправе гитлеровцев с их книгами: «Нам оказана великая честь, нашу книгу сожгли вместе с коммунистической и советской литературой».

Жестокость, самодовольство, бездушие, лицемерие и прочая душевная грязь даже в микродозах не ускользали от глаз Ильфа и Петрова, от четырех пронизательных глаз этих писателей. Они не поддавались никаким иллюзиям. Никакой внешней блеск, никакой декламаторский пафос не могли их обмануть.

К Ильфу и Петрову тянулись молодые писатели, пробовавшие себя в сатирическом роде. Группировались они главным образом вокруг Петрова. Общение это было непродолжительным. Петров умер молодым. Но до сих пор бывшие ученики его, «сии птенцы гнезда Петрова», ныне люди на возрасте, помнят точную, кропотливую работу его над рукописями, предметные уроки мастерства и излюбленное его присловье: «В искусстве, как и в любви, нельзя быть осторожным».

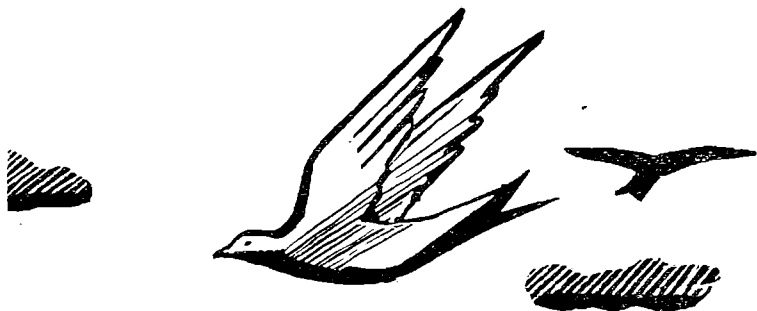
Однажды в театральном мире Москвы произошел случай, который послужил поводом к появлению на страницах «Правды» одного из самых «неосторожных» и благородных фельетонов Ильфа и Петрова. Вкратце говоря, дело состояло вот в чем. В один из московских театров пришел на спектакль гражданин с женой. Контроль не впустил их, несмотря на то, что их билеты были в полном порядке. Оказалось, что театр, зная, что эти места уже куплены, тем не менее продал их вторично. Причина: спектакль пожелал посмотреть не кто иной, как «сам» американский посол. А в таком случае, решило руководство театра, плевать на своих.

До сих пор этот старый фельетон Ильфа и Петрова обжигает огнем гражданского гнева, с каким писатели заступились за достоинство советского гражданина и обрушились на лакейское рвение театральной администрации.

В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа «Наши знакомые». Ильф лично не знал его. Но, услышав, что Герман приехал на несколько дней в Москву из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому молодому писателю, как ему понравился его роман и почему он понравился ему.

Я уже говорил о доброте — чувстве общем у Ильфа и Петрова. Надо уточнить, какая это была доброта. Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаниям дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности.

Внимание Евгения Петрова к проблемам материального быта, за которое иные называли его «поэтом сервиса», происходило не из какой-нибудь его особой привязанности к комфорту, а из никогда не покидавшего его желания облегчить существование людей и из того, что он представлял себе это не в приподнятых, отвлеченных общих фразах, а конкретно, вещественно, по-земному. В основе всей литературной деятельности Ильфа и Петрова лежала любовь к человеку. Заботливая, деятельная, воинствующая любовь к человеку, которая, как мне кажется, и является главной причиной популярности этих писателей в народе.



БАГРИЦКИЙ

С трудом воспроизвожу я свои чувства тех лет. Вообразите мальчика, который рос в разгаре первой мировой войны. Едва мы сформировались в юношей, нас бросили в котел войны. Тогда же мобилизовали ополченцев, сорокапятилетних бородачей. В казарме встретились старики и дети. Завязывались необыкновенные дружбы. Среди боев и муштры нас подобралось несколько человек, для которых литература была самой сильной страстью... Пришла революция. Смутное ощущение правды потянуло нас в Красную Армию. Снова бои. Мы были очень молоды. Жизненный опыт наш был иногда глубок, но всегда узок. Полузабытые школьные науки, революционный энтузиазм да умение владеть оружием — вот все, что я знал, умел и чувствовал в 1919 году. Прибавьте сюда неистребимое желание писать. Как! Никто из нас не знал.

Нас отвели в тыл для пополнения изрядно поредевших рядов. Это было в Одессе. Все время, свободное от караулов, учебных стрельб и комендантских вызовов, мы читали, пользуясь реквизированными у буржуев библиотеками. Особенно привлекали

нас биографии писателей. Их жизни и личности казались легендарными.

Однажды какой-то красноармеец, слышавший у нас литератором, предложил мне пойти к Багрицкому, другом которого он себя называл.

Робея, я согласился.

Мы пришли в тесную, бедную квартиру на Ремесленной улице.

Я увидел человека худого и волосатого, с длинными конечностями, с головой, склоненной набок, похожего на большую сильную птицу. Круглые, серые, зоркие, почти всегда веселые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство.

Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицкого, которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперед, широко расставив пальцы и упираясь ими в стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами, напоминала орлиную лапу.

Он косо глянул на меня из-под толстой русой пряди, свисавшей на невысокий лоб, и сказал хрипло и в нос:

— Стихи любите!

Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед собой блюдце с дымящейся травкой. Он вдыхал дым.

Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи.

Читал он хриловатым и все же прекрасным низким голосом, чуть в нос. Длинное горло его надувалось, как у поющей птицы. При этом все тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотрясавшей его, как пущенный мотор сотрясает тело машины.

Он прочел своего «Тила Уленшпигеля», потом «Харчевню» и еще много стихов. В них действовали люди и звери, жадные, сильные, полные веселья и удали.

Оглядывая Багрицкого, я подумал, что весь облик его, зоркость, сила и словно постоянная готовность к большому полету были точным физическим отражением его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь.

Впоследствии болезнь исказила пропорции его лица и тела. Но хоть он с годами оплыл и потучнел, по-прежнему до самого конца исходило от него обаяние доброй и зоркой силы большого человека.

Он был воздержан в пище. Почти не курил. Не пил. И вообще не обладал ни одной из тех фламандских страстей, которыми он так охотно наделял своих героев.

Он был путешественником в мечтаниях. Он был обжорой, атлетом, пьяницей, гулякой, ловеласом и удалцом в мечтаниях.

Я знал, что раньше он совершил путешествие в Персию. Еще совсем недавно он работал в политотделе фронта. Теперь все страсти его ушли в стихи.

Я долго сидел в тот вечер у Багрицкого. Я влюбился в него. Это случалось почти со всеми. Багрицкий обладал поразительным даром привлекать сердца. Он и сам мгновенно прилеплялся к людям. Было что-то женственное в его привязчивости к людям, в его стремлении очаровать их и в легкости, с какой он забывал иных.

Багрицкий вырос в весьма прозаической обстановке. То были низы городского мещанства. Поэзия в этих местах и не ночевала. Не возникало там и социального возмущения. Это была нищета, пропахшая мещанским духом, нищета покорная и завистливая. Она видела только одно средство ликвидировать свою экономическую, сословную, национальную униженность — разбогатеть!

Любым способом — выиграть, получить наследство, удачно спекулировать, украсть!

Талант Багрицкого на первых порах формировался на чувстве отталкивания от этого удушливого обывательского окружения. Когда пришла Октябрьская революция, Багрицкий встретил ее восторженно, потому что она звала на последний бой с этим духом наживы и приносила с собой такие высокие романтические идеалы, что на них тотчас радостно отозвалось все то мужественное и пламенное, что всегда жило в натуре Багрицкого.

Он до конца пронес это светлое юношеское чувство. Тема борьбы мещанина и поэта все время повторялась в его поэзии. Да не только в поэзии.

Помню, уже в последние годы своей жизни он с презрением отзывался об одном человеке, которого он считал классическим собранием всего пошлого, стяжательского. Он говорил, пародируя стиль научной лекции:

— Можно считать вполне доказанным, что гипертрофированное увлечение материальными благами является главным интересом и основным содержанием жизни не только, как это принято считать, у работников торговой сети, но и у некоторых работников литературной сети.

Когда кто-то более снисходительный заметил, что это приговорные, но, увы, до поры до времени неизбежные пережитки капитализма в сознании, Багрицкий вскипел:

— Почему в сознании! В барахле! С сознанием у него как раз все в порядке. Меньше, чем на мировую революцию, он не согласен. Но вы посмотрите на его коллекцию золотых часов!

О Багрицком написано довольно много воспоминаний. Казалось бы, о нем нетрудно писать, потому что он был ярким человеком. Но не все мемуаристы, думается, правильно понимают его.

Некоторые рисуют его мягким и уступчивым, не понимая,

что порой он соглашался и уступал просто от скуки, не видя другого способа избавиться от несносного собеседника.

Другие называют Багрицкого скрытным, не понимая — быть может, на основе своего личного опыта, — что ему не хотелось раскрываться перед кем попало.

В чем он действительно был скрытен — это во всем, что касалось его болезни. Он никогда не жаловался на свою астму. А если и говорил о ней, то только в подтрунивающем тоне. Даже ближайшие друзья не подозревали, как тяжело он болен. Багрицкий не способен был сделать свое личное несчастье темой своих произведений. Этого не позволила бы свойственная ему целомудренность чувств.

Об этой целомудренности не догадывались люди, воображавшие Багрицкого чудаком, богемой, циником. Они были обмануты его ошелмительным остроумием, эксцентрической манерой выражаться. В сущности, он был скромным и застенчивым человеком, о чем, впрочем, догадывались немногие.

Он был похож на свой родной город, у которого тоже есть репутация легкомысленности и который во время войны стал городом-героем.

Во время обороны города одесситы прокатили по улицам отбитую у фашистов пушку, на стволе которой они сделали надпись:

«Она стреляла по Одессе. Больше стрелять НЕ будет».

Такую надпись мог бы сделать Багрицкий. Это его веселый и мужественный стиль.

Когда узнаешь, что защитники Одессы строили самодельные танки на базе тракторов «ЧТЗ» и сами прозвали эти танки: «НИ», то есть «НА ИСПУГ», то узнаешь и в этом веселый и мужественный дух Багрицкого.

Так называемый цинизм Багрицкого был ненатуральным. Это была как бы маска, надетая на нежность. Он появлялся обычно

после или во время душевного раскрытия и как контраст к нему.

Однажды, растворив окно, Багрицкий принялся выпускать на волю птиц, которых он очень долго и тщательно собирал. Он сделал это потому, что любил птиц и чтобы осчастливить их, хотя ему, конечно, было жалко расставаться с ними. Птицы улетали не сразу, они цепенели на секунду — их охватывал какой-то шок радости — и вдруг, что-то прошебевав, исчезали.

— А что они щебечут, Эдуард Георгиевич? — осведомился мой красноармеец, малый чувствительный. — Они, наверно, поют вам благодарственные гимны!

— Они кроют меня по матери. — мрачно сказал Багрицкий.

Больше всего он боялся показаться сентиментальным. Есть мода не только на костюмы, но и на чувства. Поколение 1919 года, огрубевшее в войнах, стыдилось быть уличенным в нежности. Все стремились показать себя грубыми, решительными, циниками, хотя никогда, быть может, не было столько скрытых и явных примеров самопожертвования и нежности.

Сюда надо прибавить и то, что рефлексия, самокопание никогда не были в характере людей, населявших Одессу. У земляков Багрицкого отсутствовал вкус к абстракции. В Одессе никогда не было богоискателей, визионеров, религиозных философов. Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые, для того чтобы понять что-нибудь, должны были это ощупать, взять на зуб.

Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех. В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но без его философии. Здесь процветали в умах литературной молодежи Пушкин, Бальзак, Стивенсон, Чехов. Не Скрябин был властителем музыкальных дум в этом городе, имевшем репутацию музыкального, а Верди и Чайковский.

Некоторые склонны были считать оригинальничаньем заяв-

тия Багрицкого рыбоводством и птицеводством. Он не был дилетантом. Он ни в чем не допускал любительщины и был настоящим, серьезным зоологом. «Любовь к соловьям — специальность моя», — писал он. Когда болезнь принудила его к неподвижности, он вынужден был оstarчить вылазки на природу и втащил природу к себе в квартиру.

Впоследствии он сменил птиц на рыб, я думаю, потому, что аквариум, в отличие от клетки с птицей, — это подлинный подводный мир, перенесенный в комнату со всей своей атмосферой.

В 1919 году в Одессе организовался «Коллектив поэтов». Еще не написана история этого учреждения, воспитавшего большинство писателей, происходящих из Одессы. Неофициальным, но истинным центром его был Багрицкий. От него исходило непрерывное воодушевление. Будучи, как все талантливые люди, чрезвычайно щедрым, он разбрасывал темы, идеи, образы походя, в разговоре. Мышление его было поэтическим всегда, а не только, когда он сидел с пером над бумагой.

Каждый день происходили открытия. Багрицкий прибежал с книгой, возбужденный до иступления, и мы читали вслух, читали до утра. Это было время находок, детство. Так открыли Лескова. В другой раз — Вольтера. То, что было приобретено тогда, осталось на всю жизнь. Каждый находил свою манеру, находил себя.

Уже тогда Багрицкий стал тем, чем он был впоследствии в Москве: неофициальным литвузом, вольным университетом поэзии на дому.

Человек огромной поэтической культуры, Багрицкий всю жизнь и сам учился. Он, несомненно, принадлежал к числу людей, длительно формирующихся. То, что мы принимали за зенит Багрицкого, было только началом его восхождения. Он долго пробивался сквозь огромную библиотеку поэзии, которую он носил в своей голове, к самому себе, к своей неповторимости.

Он был всегда писателем политическим в самом прямом смысле этого слова — от первых агитационных листовок, которые он писал на фронтах гражданской войны. И тем, кто знал Багрицкого, было отрадно наблюдать, как он созревал, как к нему приходила мудрость, как от смутных революционно-романтических настроений он приходил к высокой сознательной идейности. Тем более недостойными выглядели жалкие попытки некоторых конъюнктурщиков запятнать репутацию славного поэта.

Багрицкий мощно повлиял на всех молодых писателей, соприкасавшихся с ним. Иногда даже не только непосредственным литературным влиянием своих произведений, но и самим собой, примером своей жизни, тонкостью своих вкусов, своими пристрастиями, суждениями, взглядами, стилем мышления, своей неслыханной страстью к поэзии, которая оказалась сильнее смерти.



О ЛАПИНЕ И ХАЦРЕВИНЕ

Когда я впервые увидел Бориса Лапина, ему было лет двадцать пять.

У него была репутация «старого» литератора. Он печатался с шестнадцати.

Но эти первые его юношеские стихи я прочел через много лет, и они задним числом удивили меня. Они совсем не походили на ту умную, полнокровную прозу, которую он стал писать, перевалив за двадцать. Лапин начал в эксцентрическом роде. То была какая-то странная помесь Карамзина и Хлебникова, допотопных романтических баллад и словотворческих изысков наимоднейшего покроя. «Я писал стихи книжные, туманные и оторванные от жизни», — вспоминает Лапин в автобиографической заметке. Явственный дух романтики бился и не мог выбиться из этих архаически-заумных упражнений.

Первые шаги всегда подражательны. Чем больше юный автор упорствует в неповторяемости, тем неотвратимей он эпигонствует. Надо вспомнить то время, когда иждивением авторов выходило в свет безмерное количество тощих эстетских сборничков под марками «Цеха поэтов», «Московского Парнаса», какого-то «Издательства Чихи-Пихи» тиражом в 250—300 экземпляров

и с явной претензией ниспровергнуть всю предшествующую мировую литературу. Об их существовании не подозревала страна, напругавшая силы в трудах и боях. Ни даже Москва. Может быть, только несколько переулков, окружавших «Кафе поэтов» на Тверской, где ежевечерне происходило комнатное кипение поэтических страстей. Вскоре эта армия, рекрутировавшаяся по преимуществу из пошляков и графоманов, бесследно расточилась. Одни шатнули из поэзии прямо в коммерцию только что объявленного нэпа. Другие стали благопристойными авторами опереточных либретто.

В литературе от всего этого осталось несколько истинных талантов, для которых мальчишеская игра в гениальничанье была первой пробой сил. Среди них был Борис Лапин.

Нас познакомили. Признаюсь, не таким представлял я себе этого неутомимого путешественника, автора «Тихоокеанского дневника» и «Повести о стране Памир». Передо мной стоял невысокий худенький юноша с изящной и хрупкой внешностью типичного горожанина, сутулый, словно от неумеренного сгибания над письменным столом, неразговорчивый, порывистый. Речь его была сдержанна и как-то рассчитанно банальна. Толстые стекла отстраняюще холодно мерцали под высоким, чистым лбом. Красивый нежный рот улыбался редко, с напряженной вежливостью. А под всем этим была какая-то не выраженная, но явственно ощущаемая сила.

Он похвалил что-то написанное мной и все в той же небрежной, отрывистой манере. Позже я стал догадываться, что истоки этого ненатурального высокомерия — в застенчивости Лапина. Изредка он оживлялся, и тогда все существо его вспыхивало детской свежестью.

Впоследствии, когда я с ним подружился, я увидел, что осно-

вой его душевной организации была именно эта прелестная, непосредственная, детски нетронутая свежесть. Но и тогда временами он вдруг ускользал в свою скорлупу несколько надменной замкнутости, увлекаемый туда отвращением к интимным излияниям, в которых всегда ему чудилось подозрительное красноречие. Иногда, рассказывая что-нибудь (а рассказывал он с блеском истинного художника), он вдруг осекался и, к удивлению слушателя, впадал в бесцветное бормотанье. Он стыдился своего блеска, он намеренно притушивал его, боясь быть уличенным в неестественности, в позе, которой он чурался больше всего на свете.

Лапину скоро надоела мышиная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. Однажды он отшвырнул от себя всех этих Новалисов и Кусиковых, «общительных мамелюков» и «радужных горевальцев».

Что ему весь этот прокатный бред экспрессионизма! Он вырос из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заемное, не гревшее на русских морозах. А Лапин был человек очень московский, родившийся и выросший в Москве, в гуще сретенских переулков, очень любивший Москву, пропитанный ее своеобычностью, ее говорком, духом ее вольности. В Октябрьскую революцию ему исполнилось двенадцать лет, он рос в годы гражданской войны, созрел в пятилетке.

Пятнадцати лет Лапин попал на деникинский фронт вместе со своим отцом, военным врачом красноармейского полевого госпиталя. Впечатления эти глубоко запали ему в душу. Они пробиваются даже сквозь манерные интонации его мальчишеских стихов:

На курке от нетерпенья так дрожит моя рука.
Истекаю, истекаю местию большевика...

Он был объят романтическим патриотизмом. Но что было более романтического в мире, чем Советская республика! Он захотел увидеть свою удивительную страну.

Жизнь Лапина превратилась в непрерывные странствования. «Тонкая стена обыкновенного была пробита»,— пишет он в своем собственном ему тогда приподнятом тоне («Тихоокеанский дневник»).

Он думал, что уезжает на Восток за экзотическими впечатлениями. На самом деле он пошел в люди, по великому примеру славных писателей-реалистов. Он был слишком проникновенен и честен, чтобы долго увлекаться внешней живописностью Востока.

«На моих глазах,— пишет он в автобиографической заметке,— совершилось удивительное преобразование Средней Азии в Советскую республику, на моих глазах нарушились все старые отношения, возникли совершенно новые... Я увидел Народную Бухарскую республику, совет назиров в эмирской цитадели, коммунистов, управлявших городом средневековых цехов...»

Лапин выехал, чтобы увидеть Восток глазами эстета. Он увидел его глазами исследователя и борца, глазами советского гражданина. Приблизившись к колониальным странам Тихого океана, он записал в «Тихоокеанском дневнике»:

«Трагедия существования всех этих живущих под крупом цивилизации народов и племен — в их жестокой и неумолимой зависимости от европейцев, созданной императорами биржи и конторскими конквистадорами...»

Как это не похоже на кокетливые экстравагантности всяких ничевоков и беспредметников, рядом с которыми еще так недавно соседствовал Лапин! Талант его преобразовался на ходу, в работе. Прорвавшись к большому миру, Лапин прорвался к самому себе. Его искусство наполняется жизненностью и боевой политической тенденцией. Оно приобретает значительность.

В течение нескольких лет Лапин печатал в газетах свои корреспонденции, подписываясь «Пограничник». Он не был журналистом обычного типа, который наблюдает жизнь с пером в руках. Он всюду вторгался в жизнь как соучастник. Энергии в этом несильном теле хватило бы на добрый десяток здоровяков.

Он прошел горные кряжи Памира как регистратор переписки Центрального статистического управления. При этом он в совершенстве изучил персидский язык. Он работал в Крыму как сотрудник археологической экспедиции. Он исколесил Чукотку как служащий пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племен. В качестве штурманского практиканта на пароходе «Чичерин» он посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геоботанической экспедиции. Он превратил свою жизнь в практический университет. Познания его были разнообразны. Он никогда не щеголял ими. Все в себе ему казалось заурядным. Так, случайно открылось однажды, что он, между прочим, обучался и в авиашколе и получил звание летчика-наблюдателя. Через много лет эти практические знания всплыли в повести «Подвиг», где с профессиональной точностью описаны детали боевой работы военного летчика.

После каждого путешествия круг его друзей расширялся. Среди них были и академик с европейским именем, годившийся ему в деды, и молодой монгольский поэт, повстречавшийся где-то в Гоби, и капитан лайнера, совершающего международные плавания, и другие. Лапин любил людей и книги.

Он любил книги, но не был книжником. И его обширная библиотека вряд ли пленила бы коллекционера, выдерживающего свое собрание в строгом стиле [например, только первоиздания или только XVIII век, только классики и т. п.]. Какой-то библио-

фил, забредший к Лапину, высокомерно заметил: «Это библиотека варвара».

Это была библиотека энциклопедиста. Она отражала широкие жизненные интересы Лапина. Оглядывая его книжные полки, можно было подумать, что они принадлежат нескольким специалистам по разным областям знания.

В газетных очерках Лапина сомкнулись искусство и репортаж. Из поэзии он принес в журналистику взыскательное отношение к слову. Газета влила в него дух политической страстности, научила его точности, конкретности, оперативности.

Так родился жанр его книг. Он был настолько своеобразен, что его можно обозначить только словом «книга». В одном произведении — и новеллы, и стихи, и документы, и публицистика, и научный трактат, и лирика, и политический памфлет, и сочиненное и подлинное. Все это сгущено на немногих страницах. Таковы и «Набег на Гарм», и «1869 год», и «Разрушение Кентаи», и «Тихоокеанский дневник», и «Посторонний наблюдатель», и даже одна из наиболее зрелых его вещей, обозначенная им самим как повесть: «Подвиг». Это был сознательный стилизованный прием. «Эта книга — рассказ о Таджикистане в стихах, повестях, письмах, дневниках, газетных выдержках, рисунках и песнях» [предисловие к «Сталинабадскому архиву», 1935].

В то же время каждое из этих произведений не мозаично, а, напротив, стройно, цельно. А герои Лапина обладают такой силой жизненности, что автору приходилось в специальных предисловиях предупреждать читателя, что они вымышлены.

«В эти тревожные дни два вымышленных героя едут в путешествие на пароходе «Браганца» мимо берегов Сирии...» — и т. д. [предисловие к книге «Путешествие», 1937].

Эту книгу Лапин написал вместе с Захаром Хацревичным. С некоторого времени они были неразлучны в странствованиях и в труде.

Всюду, где появлялся маленький Лапин, улыбаясь с нежной рассеянностью и заносчиво поводя упрямым подбородком, рядом с ним шагал, раскачиваясь на длинных ногах, рослый Хацревин, в изящной пиджачной паре, со своей счастливой, немного беспечной улыбкой и чуть раскосыми, беспощадно наблюдательными глазами. Тенорок Лапина и баритон Хацревина сливались не в дуэт, а в унисон. Один начинал, другой подхватывал, первый опять вырывался вперед, второй на ходу вставлял детали. Они много видели вместе, много передумали вместе. Даже когда они пререкались, казалось, что они подходят разными путями к одному и тому же и здесь сталкиваются. Походило на спор, но было согласием.

Захар Хацревин встретился с Борисом Лапиным, когда тот был уже сложившимся писателем. Сам Хацревин только начинал, хотя он был старше Лапина.

У Хацревина была превосходная фантазия. Он был выдумщиком в сказочном роде. Но это еще предстояло расположить на бумаге, которая одна в состоянии отцедить литературу от словесной пены. Есть авторы, которые предпочитают тяжелому труду над бумагой эффектный шум устной импровизации. Почему? Ссылка на лень тут ничего не объясняет. Талант и лень несовместны. Если о ком-то говорят «талантливый лентяй», значит, на самом деле талант его неполноценен. Или — он дилетант. В состав дарования входит трудолюбие, признак количества.

Каждый писатель несет в самом себе некоего «внутреннего критика», голос которого и является для него решающим.

А тут у Лапина появился и «критик внешний», но приобщенный к процессу его творчества так интимно, как если бы он был частью самого Лапина. Это было тем более значительно, что Хацревин обладал своего рода абсолютным литературным слухом, чья сила действовала особенно метко, когда она бывала направлена не на самого себя.

Так появился новый писатель: Лапин плюс Хацревин.

Наряду с ним продолжал действовать и прежний Лапин. Можно удивляться его высокой продуктивности.

Вместе с Хацревиным он написал: «Америка граничит с нами» [1932], «Сталинабадский архив» [1932], «Дальневосточные рассказы» [1935], «Путешествие» [1937], «Рассказы и портреты» [1939].

И в те же годы один он написал: «Разрушение Кентаи» [1932], «Новый Хафиз» [1933], «Подвиг» [1934], «1869 год» [1935], «Однажды в августе» [1936], «Врач из пустыни» [1937], «Витька» [1938], «В нескольких шагах от реки» [1939], «Приезжий» и «Человек из стены» [1940].

Что касается Хацревина, то он растворился в своем соавторе почти без остатка.

До объединения с Лапиным он выпустил интересную маленькую книгу рассказов «Тегеран». После — ничего, если не считать двух-трех рассказов.

При некоторых совпадающих чертах это объединение двух писателей не было таким полным и органичным, как, например, у Ильфа и Петрова, которые сливались, так сказать, химически. Если их книги уподобить воздуху, то Евгений Петров в них играл роль азота. Одним кислородом нельзя долго дышать. Он сжигает. Жгучую едкость Ильфовой иронии Петров разбавлял своим живительным юмором. Они были неразделимы. Когда они обособлялись, воздух распадался, писателя не было.

Лапин и Хацревин иногда явственно отслаиваются друг от друга.

Но временами, когда их соединенные усилия достигали гармонии, им удавалось создавать такие маленькие шедевры, как «Дональд Ши» или «Знаки», принадлежащие к лучшим образцам советской новеллистической литературы. Одна из совместных книг их — «Дальневосточные рассказы» — превосходна.

Хацревин иногда говорил о Лапине, что по всему строю дарования он больше ученый, чем поэт. Нужно сказать, что сам Хацревин был широко образованным человеком, особенно в востоковедческих дисциплинах (он кончил Ленинградский институт востоковедения, тогда как Лапин был самоучкой).

Но в этих словах его отразились творческие споры соавторов. Хацревин тяготел к чувствительности, к эмоциональной раскраске сюжета, к плавному рассказу о страстях, к музыкальному построению фразы, даже к строфичности в прозе. Лапин — к изображению эпохи, социальной психологии, к снайперски точному выражению мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его искусстве царит порядок и своего рода суровость, выраженные с присущей ему сдержанной силой. Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос в сухости, свое красноречие — в краткости. В манере его было что-то от «Записок» Цезаря или от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался он пушкинским «Кирджали». К слову сказать, эта восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что иное, как репортаж, гениально вознесенный на высоты большого искусства. Именно этот жанр — с его фактичностью, свободной манерой повествования, коротко, но глубоко врезанными характеристиками и ярко обозначенной политической тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.

Но в словах Хацревина была и верно подмеченная черта его друга. И вправду, Лапин иногда напоминал ученого, который приневолил себя к искусству и принес туда точность и обстоятельность лабораторного исследователя. Его книги местами переходили как бы в изыскания.

Лапин, чрезвычайно сознательно относясь к своей работе, знал это и подчеркивал. В «Подвиге» мы читаем:

«Как ученый исследователь по осколку пористой кости, найденному среди силурийских пластов, восстанавливает неведомый скелет давно погибшего животного, так и я должен был восста-

навливать душевный скелет капитана Аратоки, пользуясь отрывками лживых интервью, рассказами невежественных очевидцев, преклонявшихся перед газетной мудростью...»

Не отсюда ли у Лапина эта страсть документировать свои фантазии, превращая документы в элемент повествования?

Однако не холодное научное исследование было его целью.

«Не как антрополог, не как психолог и не как портретист хотел бы я смотреть на людей. Я хотел бы изучить место, какое люди занимают в своем времени. Я хотел бы, чтобы, взглянув на моего героя, каждый говорил: «Живи я в одно время с ним, я был бы его другом», «Я был бы его врагом...»

Это из книги «1869 год» — о пушечном негоцианте и авантюристе Генрихе Кеферлейне, немецком фабриканте смерти. Сквозь его биографию просвечивает детство империализма, взрыв колониальной экспансии, начало роста вооружений. Из вышеприведенной цитаты становится ясной творческая программа Лапина, как она определялась для него в 1935 году, когда ему исполнилось тридцать лет: с точностью ученого, действуя приемами художника, добиваться политических результатов, заражая читателя любовью или отвращением к героям своего повествования, всегда окрашенным социально. И он этого добивается.

Не сомневаюсь, что, ставши ученым, Борис Лапин, при своих блестящих дарованиях, сделал бы значительные открытия. Но воображение, вся пылкость образного мышления увлекла Лапина в искусство. Научный метод он использовал как поэтический прием. Потому что, вопреки характеристике Хацревина, больше всего Лапин был все-таки поэтом.

Они были очень дружны. Эта дружба выдержала испытания работой, опасностями, самой смертью.

Они были товарищами в труде, в путешествиях, в войнах. Это

была дружба мужественных людей. Они обходились без сентиментальных заверений во взаимной приязни. Напротив, они нередко препирались.

Хацревин не упускал случая подтрунить над феноменальной рассеянностью Лапина.

Эта рассеянность происходила от сосредоточенности. Иногда она бывала так глубока, что походила на одержимость. Это означало, что Лапин охвачен идеей новой книги или замыслом нового путешествия, куда непрерывно гнал его беспокойный и отважный дух исследователя. Решения его часто казались внезапными. На самом деле они длительно и незримо созревали в недрах его деятельного мозга, что бы другое, видимое, ни делал он в эту минуту: читал ли, гулял ли, разговаривал ли на постороннюю тему. И тогда под незначительностью обыденного разговора порой чувствовалась пылающая работа его воображения. Легкий тик, пробегающий в такие минуты по его лицу, казался произвольным мускульным усилием, способствовавшим напряженной работе мысли.

Лапин любил Хацревина немного покровительственной любовью старшего брата (хотя он был моложе Хацревина) или матери, которая хоть сама и покрикивает на своего несмышленища, но никому другому не позволяет обижать его. В этом, несомненно, был и оттенок жалости. Широкоплечий жизнерадостный Хацревин был очень больным человеком. Это не помешало ему в 1939 году, когда вспыхнули военные действия на реке Халхин-Гол, домогаться командировки на фронт.

Там, в районе боев, этот хилый человек, с привычками изнеженного горожанина, страдавший жестоким пороком сердца и изнурительными припадками ноктурны (род падучей болезни), не знал ни страха, ни уныния, ни усталости.

Койки Лапина и Хацревина в редакции армейской газеты всегда пустовали. Друзья вечно пропадали на переднем крае.

Уже тогда ими владела мечта «раствориться в безымянной красноармейской массе». Впоследствии они развили эту идею в своей пьесе «Военный корреспондент», не достигнувшей сцены, но оказавшей известное влияние на нашу драматургическую литературу.

В боевой обстановке фронта Лапин и Хацревин показали себя бесстрашными людьми.

Мне кажется, что это бесстрашие покоилось не только на их личных свойствах, на врожденной силе духа или на крепости нервной организации.

Мне кажется, что это бесстрашие происходило и от острого осознания благородства цели, за достижение которой борется Советский Союз и обороняющая его Красная Армия, от сознания, что вся чистота и правда мира на нашей стороне.

Отсюда рождалось ощущение бессмертия — бессмертия дела, защищаемого нами, бессмертия коммунизма. Это, в сущности, и было тем, что называется — советский патриотизм.

Лапин и Хацревин никогда не затрепывали этого высокого чувства в болтовне житейских разговоров, но оно выразилось во всем их жизненном поведении, в самой фактуре их произведений, оптимистичной, ясной, жизнерадостной. Иной литератор из «бодрячков» бубнит всю жизнь в такой уныло-монотонной ноте, словно он пишет о зубной боли, а не о строительстве нового мира. Жизнерадостный тон, который так характерен для произведений Лапина и Хацревина (так же как и одного Лапина), является как бы отпечатком самой природы их, бодрой, неутомимой, бесстрашной природы бойцов.

Таково было их умонастроение, так и вели они себя на полях этой короткой, но жестокой войны в недрах Азии. Им было нелегко. Никто никогда не слышал от них жалоб. Хацревин му-

жественно преодолевал свою физическую хрупкость, свои сердечные обмирения, свои эпилептические припадки, которые почти каждую ночь били его. У Лапина от невзгод фронтовой жизни открылся старый рубец на спине, оттуда все время сочилась кровь. Он больше всего боялся, чтобы редактор не заметил этого и не откомандировал его с фронта.

Помимо всего, война остро интересовала их, как неповторимый материал для наблюдений. Вот тут и начинаются различия.

Хазревин наблюдал войну с жадной любознательностью, не затрудняя наблюдений никакими литературными расчетами. Эта неутомимая любознательность гнала его под огонь минометов, в гущу атаки, делала его опасным спутником.

У Лапина же этот процесс осложнялся чрезвычайным напряжением внимания, направленным на запоминание. Не доверяя памяти, он записывал все, что видел, в свою тетрадку, которая, так же как и пистолет, всегда была при нем. Он заносил в нее как бы моментальные снимки с натуры — короткими словами, почти стенографическими иероглифами. Тут же с лихорадочной быстротой он запечатлевал обобщения, образы, ассоциации, вихрем проносившиеся в его мозгу. Он запоминал войну как материал для искусства. И никакая острота обстановки не в состоянии была парализовать эту профессиональную потребность писателя.

Как-то на одном из участков на Халхин-Голе наблюдатель доложил, что японцы надевают противогазы. Можно было ожидать химической атаки. Ни у кого из нас троих не было противогазов, — по недопустимой небрежности мы оставили их в машине и отпустили ее. Все вокруг натянули на себя противогазы, запасных не оказалось.

Я закурил папиросу, чтобы определить направление ветра по дыму. Но медлил смотреть на него. Странное оцепенение овладело мной.

Хацревин беспечно улыбался и, засунув руки в карманы, с любопытством озирался по сторонам.

Лапин же выхватил из кармана свою тетрадку и принялся писать. Он фиксировал свои «предсмертные» ощущения. Он писал очень быстро, чтобы успеть записать как можно больше.

Наконец Хацревин сказал, покосившись на дым моей папиросы:

— Вечер к японцу.

Мы вздохнули и рассмеялись.

Потом Лапин читал нам свои лжепосмертные записки:

«Газовая тревога. Барханы. Глубокий песок. До японцев 350 метров. Сидим под высокой насыпью. Над головами жужжат пули. Массивность майских жуков. Здесь в песках портится все автоматическое — пистолеты, часы, ручки. Минометы молчат. Вечер. Но еще светло. Где же газы? Все в масках. Тупоносые. Ворочают серыми резиновыми пяточками. Наших три голых беззащитных лица. Чувство неизбежности. Газ еще не дошел. А может быть, он без запаха? Пульс учащенный. Смуглое небо. Орлы. Низко пролетают. Бегут. Мясистые крылья свистят, сдвигаясь...» И так далее, все в том же стиле скрупулезно-точного описания обстановки.

Они оба не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснялся страстью видеть, у другого — страстью изображать.

Разразилась Отечественная война. Лапин мог бы эвакуироваться вместе с теми, кто уехал в тыл заниматься литературой. Он уже достиг того возраста, когда писатель начинает меньше скитаться, а больше сидеть за письменным столом и разрабатывать накопленное. Но ему показалось невозможным писать, покойно расположившись за широкой спиной Красной Армии. Не жажда впечатлений гнала его на войну, а высокоразвитое чув-

ство патриотического долга. Он примкнул к тому отряду писателей, которые шли, погибали и побеждали вместе с солдатами.

В сторону неоконченные рукописи! Из-под кровати извлечены запыленные сапоги, на пояс подвешен пистолет, сунута в карман тетрадка. Военные корреспонденты Лапин и Хацревин уехали на Юго-Западное направление. И вскоре на страницах «Красной звезды» стали появляться их «Письма с фронта» едва ли не ежедневно.

С волнением перебираешь сейчас эти газетные вырезки. Они пожелтели от времени. Но короткие фразы еще горячи. В них жар боя и пламя горящих хлебов на полях Украины. Как все написанное Лапиным и Хацревиным, эти корреспонденции о тяжком военном лете 1941 года дышат верой в победу, волей к победе.

По своему обыкновению, Лапин и Хацревин значительно раздвинули привычные функции корреспондентской работы. В одной из немногих существующих в нашей литературе статей о работе журналистов на фронте (сборник «Бои у Халхин-Гола») Лапин и Хацревин пишут, вспоминая опыт 1939 года:

«Часто материал для номера собирали во время боя... Пробираясь по узеньким ходам сообщения, военные корреспонденты записывали в свои блокноты боевую хронику дня. Они наблюдали из окопа за атакой. Им случалось брать интервью, сидя в щелях во время налетов авиации. Дальние и ближние разрывы не мешали сосредоточенной деловой беседе... Вели и политическую работу на передовых позициях... Проводили короткие беседы... о сегодняшнем международном положении, о приеме в партию на позициях, даже о советской художественной литературе...»

Лапин и Хацревин гордились своим родом оружия. В армии во время Отечественной войны работали несколько сот журналистов и писателей. Они шагали рядом с солдатами, они мокли

в окопах, вылетали на штурмовиках, ходили на подлодках в неприятельские воды, высаживались с десантами, работали среди партизан в тылу у врага. Как у всякого рода оружия, у них были свои обычаи, свой фольклор, своя честь. Они пели свои песни, которые им написали Лапин с Хацревиным и Симонов. Они жили с народом на войне, звали его в бой и сами ходили в бой. Поистине перо было приравнено к штыку и к свинцу пуль — свинец типографского набора. Среди храбрейших из них были Лапин и Хацревин.

С самого начала войны нас разбросало по разным фронтам. Я был на Ленинградском. Все же еще раз я увидел их.

В августе 1941 года редакция вызвала отовсюду своих военных корреспондентов на несколько дней в Москву, чтобы дать им новые инструкции. Из-под Киева примчались на пятнистой простреленной «эмке» Лапин и Хацревин. В ночь перед возвращением на фронт Хацревин метался в сорокаградусном жару. К его обычным недугам добавилась дизентерия. Он запретил нам сообщать редактору о его болезни. На следующее утро никто не сказал бы, что он болен. Он был, как всегда, весел, ясен, бодр, он в совершенстве сыграл здорового. И они уехали на своей пятнистой машине обратно под Киев.

А на следующий день уехали обратно в Ленинград Михаил Светлов и я. Поезда уже не ходили. Мы поехали на машине. Но и Ленинградское шоссе оказалось перерезанным. Обходными путями, через леса, мы добрались до Мги и проскользнули сквозь нее. Через несколько часов она была занята немцами. Последняя дверь в Ленинград захлопнулась за нашей спиной. Мы въехали в блокаду.

Но оставались воздушные пути. Самолеты из Москвы садились на маленьких площадках на окраинах Ленинграда. В октяб-

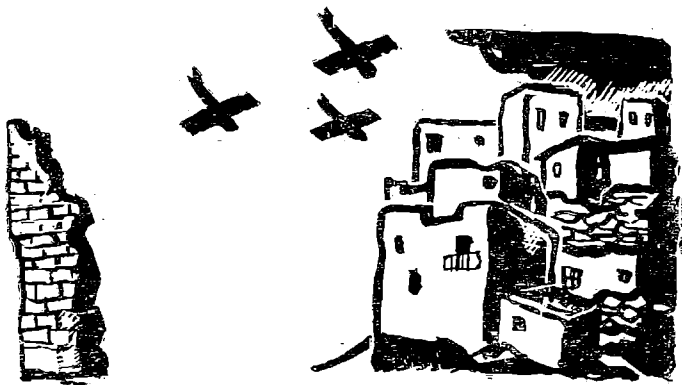
ре прилетел один знакомый летчик. Он рассказал, что Лапин и Хацревин погибли в боях под Киевом.

Офицер, который видел их последним, рассказывал. На охапке сена при дороге лежал Хацревин. Он был окровавлен. Лапин склонился над ним, в солдатской шинели, сутулый, с винтовкой за спиной. Они пререкались. Хацревин требовал, чтобы Лапин уходил без него. Лапин отвечал, скрывая нежность и грусть под маской раздраженности: «Ну ладно, хватит говорить глупости, я вас не оставляю...»

Почему их жизнь мне кажется такой замечательной? Ничего как будто и особенного: труд, скитания, война.

Но доброта, талант, естественное и деятельное благородство, честность, мужество, скромность, рассеянные по многим людям, соединялись в каждом из них слитком высочайшей пробы.

«Мальчики убиты!» — эта весть горестно поразила всех друзей. Я забыл сказать, что их называли «мальчики» (хотя старшему из них исполнилось тридцать семь), — вероятно, за то сияние душевной чистоты, которое так молодило их.



КОЛЬЦОВ В ИСПАНИИ

Весной 1924 года к заместителю редактора «Вечерней Москвы» вошел молодой человек и протянул ему рукопись.

Редактор поднял голову и рассеянно сквозь большие совиные очки посмотрел на незнакомца. На лице у того была мрачная решимость. Но рука дрожала.

Случилось чудо. Редактор тут же прочел рукопись — это был очерк о нэповской Москве — и немедленно послал его в набор. На следующий день очерк появился в газете.

Этим чудотворцем был Михаил Кольцов. Молодым челорекком с рукописью — я.

Собственно, никакого чуда не было. Обыкновенная чуткость. Обыкновенная оперативность. Но как это необыкновенно!

Так началось мое знакомство с Михаилом Кольцовым.

Как ни странно, этот прирожденный газетчик редко бывал в редакции. Он летал по миру. Он собирал материал не совсем

обычным путем. Он сам становился практическим работником в той области, которая его интересовала. А так как его интересовало многое, то становился он попеременно то педагогом, то военным, то дипломатом, то регистратором в загсе.

Однажды в течение трех дней Кольцов ездил по Москве как шофер такси. Потом он написал очень интересный очерк о своих шоферских наблюдениях. Правда, не о всех. Кое-что он прибег для рассказов в приятельском кругу. Например, о том, как он высадил из машины одного пассажира за непристойные разговоры. Я понимаю, почему этот случай не вошел в очерк. Кольцов не хотел писать о себе. Этот человек, в иные минуты более всего походивший на извержение вулкана, был временами сдержан до стыдливости. Богато одаренная натура его была сплетена из контрастов.

Старые литераторы помнят журнал «Чудак», который Кольцов основал и редактировал в тридцатых годах. Это был безусловно наш лучший сатирический журнал. Литературные достоинства соединялись в нем с критикой «невзирая на лица». В остроте этой критики проявилась не только большая личная храбрость Кольцова, но и его высокие чувства гражданина.

Высочайшим пафосом жизни Михаила Кольцова была его деятельность в Испании. Описанию этой блестящей самоотверженной работы посвящены дальнейшие страницы моего очерка. В нем использованы как свидетельства очевидцев, так и собственные записи Кольцова в его замечательном «Испанском дневнике».

Ночью радио передало сводку погоды:

«Во всей Испании безоблачное небо...»

Невинные слова эти были спичкой, брошенной в бочку с порохом. Повинуясь этому парсю, фашистские мятежники в ту же ночь подняли бунт против республиканского правительства,

Это было 19 июля 1936 года.

Через три недели, 8 августа, в Барселоне высадился человек невысокий, подвижный, с насмешливой складкой рта. Багаж его был невелик: саквояж да пишущая машинка. Веселые глаза пронычательно поблескивали за большими совиными очками. Это был Михаил Кольцов.

Ступив на испанскую землю, он принялся записывать день за днем, иногда час за часом все, что он видел вокруг.

Так родился «Испанский дневник», подневная летопись гражданской войны в Испании, увлекающая нас до сих пор горькой силой своей правды и художественным блеском.

Эти бессюжетные записки читаешь не отвываясь, как роман. Их сюжет — сама история.

Верный своей манере, Кольцов ничего не писал с чужих слов.

Беседы с министрами и с бойцами во дворцах и в окопах, танковые атаки и воздушные бои, стычки, штурмы, в которых Кольцов принимал участие как боец,— вот первоисточник «Испанского дневника».

«Все надо посмотреть, почувствовать, оценить и не ошибиться,— писал Михаил Кольцов в одной автобиографической заметке.— Надо быть честным «ухом и глазом» своих читателей, не злоупотреблять их доверием, не утруждать их чепухой под видом важного...»

Читая «Испанский дневник», вы постепенно сами как бы становитесь очевидцем,— да, вы уже не читатель, вы зритель событий, изображенных в этой книге с такой наглядностью, точностью и полнотой. Плавное течение рассказа временами пронзают молнии «кольцовского» сарказма. А под всем горечью, которая растет по мере того, как шаг за шагом перед вами разворачивается трагическая эпопея Испании.

Хосе Диас, покойный руководитель Испанской компартии, когда-то характеризовал первые дни борьбы против фашист-

ских мятежников как «романтический период войны». Против фашистских фаланг Франко, против превосходящих сил гитлеровских и муссолиниевских дивизий сражались разрозненные отряды неопытных добровольцев. «Но,— восклицал Хосе Диас,— недостаточно иметь на своей стороне право, как воображают некоторые романтики: надо уметь утвердить право силой».

Кольцов восхищается героической отвагой республиканцев. Но он показывает и оборотную сторону «романтического периода».

«Штаба здесь, очевидно, никакого нет, средств связи и управления тоже нет, министр сам устанавливает связь с отдельными батальонами и колоннами, сам ими командует по телефону. Так далеко не уедешь...»

Расхлябанность управления соединялась с безобразным бюрократизмом и мертвящей централизацией.

«Все ожесточены против Ларго Кабальеро. Старик целиком утонул в бюрократической канцелярщине, в бумажках, не дает никому проявлять никакой инициативы, не разрешает назначать без него ни одного фельдфебеля, не выдавать ни одной тысячи песет, ни одной винтовки...»

Перелетев с Центрального фронта на Северный, в Бильбао, Кольцов и здесь, в местном руководстве, обнаруживает те же губительные пороки:

«Хуан Астигаррания — самовлюбленный схематик, обозленный партийный бюрократ, возомнивший себя непогрешимым с тех пор, как попал в коалиционное правительство. Конечно, коммунисты могут и при известных условиях должны входить в правительство Народного фронта. Но над министрами-коммунистами, которые идут в смешанные правительства, должен сохраняться крепкий контроль партии. В Бильбао этого не было...»

Кольцов не ограничивался тем, что ставил диагноз. Декларативный пафос не в его характере. Он настойчиво возвращается

и этой теме уже на страницах мадридской печати. Аргументируя цифрами, примерами, практическими предложениями, он с яростной энергией пропагандирует идею создания крепкой народной армии, дисциплинированной, хорошо вооруженной, руководимой единым командованием.

Люди постарше хорошо помнят блестящие испанские корреспонденции Кольцова в «Правде». Но мало кто знает, как действительна была его боевая публицистика на страницах испанской печати. Газета «Эль Сосиалиста» писала в те дни в одной из своих передовых:

«Понадобилось, чтобы русский журналист Мигель Кольцов открыл нам личность Висенте Рохо и этим помешал нашей скверной традиции — пренебрегать и не замечать наших людей... Мы благодарны Мигелю Кольцову за открытие, которое он сделал, за показ человека, который в тишине своей скромной комнаты отдает все силы спасению Мадрида... Пусть это послужит нам уроком и предостережением, столь важным в условиях нынешней борьбы».

Кольцова хорошо знали в Мадриде. В любопытной книжке кинооператора Б. Макасева, посетившего в те дни Испанию, мы находим следующую запись:

«Товарищ Кольцов — один из самых популярных людей в Испании. Всегда в комбинезоне, с биноклем на шнурке, в берете, с блокнотом в руках, — его всюду знали в лицо. Он прекрасно говорит по-испански... Кольцов очень много работает. Трудно было догадаться, когда спит Кольцов. Когда ни войдешь к нему — стучит машинка. С Москвой он поддерживает почти непрерывную связь... Свои корреспонденции прямо из номера гостиницы он передавал в Москву. Передача сообщений в Москву была для Кольцова не простым техническим процессом. Кольцов — глубоко эмоциональный журналист. У телефонного аппарата он зажигается содержанием только что написанных или продикто-

ванных им строк... Я видел сам однажды, как, передавая свою вещь, Кольцов плакал».

Быть может, образ плачущего Кольцова не вяжется с представлением о нем, как о человеке ироническом, трезвом, волевом и уж, во всяком случае, нисколько не сентиментальном. Мне хочется тут же сказать, что из этого традиционного (и, на мой взгляд, неполного) представления о Кольцове выпадает его сердце.

Запись Б. Макасева может создать впечатление, что единственной причиной популярности Кольцова в Испании была его журналистская работа. Разумеется, это не совсем так.

Кольцова видели на всех участках фронта — не только как журналиста. Он ходил в разведку и в атаки, иногда в броневике, иногда в танке, а случалось — и в штурмующих пехотных подразделениях, как, например, в Толедо или в Университетском Городке. Он вылетал в воздушные бои. Он участвовал в подкопе под вражеский форт и вместе с другими взрывал его.

Но и в этом еще не весь Михаил Кольцов.

Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал:

— Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!

Что имел в виду Вишневский, приравнивая Кольцова к крупной военной силе! Неужели его участие в стычках в качестве рядового бойца!

На одной из первых страниц «Испанского дневника» мы находим строки, написанные как бы между прочим:

«...Здесь же был Мигель Мартинес, небольшого роста человек, мексиканский коммунист, приехавший, как и я, вчера в Барселону. Он никогда не жил в Испании, а сейчас прибыл помогать и отдать здешней партии свой опыт гражданской войны...»

И через несколько десятков страниц:

«...Мигель Мартинес получил письмо о назначении его бригадным комиссаром. В первый организационный период он должен работать инспектором при генеральном комиссаре дель Вайо. Мартинес приступил к работе».

Теперь уже наступило время, когда можно сказать, что этот неведомый спутник Кольцова, совпадавший с ним в имени и в росте, был не кто иной, как сам Кольцов. В центре повествования то Михаил Кольцов, то Мигель Мартинес.

Чем же вызвано это странное раздвоение личности героя «Испанского дневника»!

Мне кажется, что это ни в коем случае не литературный прием, не просто выгодная для автора расстановка действующих лиц. Нет, это следствие осторожности автора, не хотевшего преждевременно обнаруживать свое руководящее участие в военных действиях в Испании. Этим же объясняется соответствующее умолчание и в записках Б. Макасева.

Михаил Кольцов был в Испании крупным военным работником и политическим деятелем. И это именно имел в виду В. Вишневский в своей речи.

Мечту журналиста Кольцова о создании крепкой народной армии республиканской Испании осуществлял в жизни Кольцов — бригадный комиссар.

Вот здесь-то и надо искать своеобразие личности Михаила Кольцова.

Он далеко не единственный выдающийся журналист нашей прессы. Она знает немало славных имен. От других Кольцов отличается (помимо характера своего дарования) тем, что весь он не вмещался в слове. Он жаждал дела.

Мне кажется, что при жизни Кольцова многие недооценивали его и как литератора и как человека. Его кипучую энергию порой принимали за мальчишескую любовь к приключениям. Жизнерадостность — за самодовольство преуспевающего. Незауряд-

ный талант организатора — за вульгарный практицизм. Кое-кто склонен был трактовать Кольцова если не левкачом, то удачливым малым. Люди эти проглядели высокую большевистскую идейность Кольцова, а главное — его страстную, отзывчивую натуру.

Я не собираюсь идеализировать Михаила Кольцова. Сейчас, когда восстановлены несправедливо попранные репутации, когда реабилитированы незаконно осужденные, уместно напомнить, что неразумно ставить знак равенства между реабилитацией и идеализацией. Мы снимаем шапки и склоняем головы перед могилами невинно пострадавших. Но трагический конец никого не в состоянии сделать великим писателем. Века существования не вытравивали лицемерия из старой лукавой пословицы: «De mortuis aut bene aut nihil». Ничто, даже самая смерть, не дает права на посмертное прихорашивание. «Фарисеи буржуазии, — писал Ленин, — любят изречение: De mortuis aut bene aut nihil» («О мертвых либо молчать, либо говорить хорошее»). Пролетариату нужна ПРАВДА и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживают имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».

Михаил Кольцов и не нуждается в идеализации. В нем было вдоволь всего. Порой он был не чужд известной расчетливости. И в то же время — способен на поступок опрощивый, с точки зрения благонамеренных перестраховщиков. Жизнелюбец, не пренебрегавший радостями бытия, он без сожаления расставался с комфортабельным существованием и мок на дне окопов, совершал рискованные перелеты и шел в атаки сквозь ураганный огонь.

Иногда его окружали люди, глядя на которых хотелось сказать: «Михаил Ефимович, ну что вы водитесь бог знает с кем!» В то же время он был верным товарищем, стойким и нежным другом своих друзей.

Личная храбрость его была безукоризненна. Люди, встречав-

шие Кольцова в Испании, знают, какой это был бесстрашный воин.

Он мог сдипломатничать в разговоре, славировать в неглубокой житейской ситуации. Но в произведениях своих он был беспощадно правдив и, как в боях, отважен до дерзости.

Он мог показаться иногда суховатым, иногда пренебрежительным. Но на улице Мадрида он подобрал бездомного осиротевшего испанского мальчика, привез его в Россию и усыновил. Маленький Хозе не мог знать, что вскоре ему предстоит вторично осиротеть...

Говоря о том, что Кольцова любили и уважали в Испании, нельзя забывать, что популярностью своей, помимо личных заслуг, он был обязан той любви к Советскому Союзу, которая внезапно вспыхнула в испанском народе. Великий пример нашей родины, советские люди, советские книги, советские фильмы сделались предметом восхищения в Испании. Стихи М. Светлова «Гренада» и фильм братьев Васильевых «Чапаев», полные революционного запала и глубокой человечности, стали в Испании руководством к действию.

«Арагонские крестьяне,— пишет Кольцов,— каталонские рабочие учатся у Чапаева защищать свои права. Смертельно раненный русский большевик тонет в реке Урал, похожей на реку Эбро. И как бы в ответ в зале гремит яростный клич: «На Сарагоссу!»

Те, кто помнят тридцатые годы, знают, каким пламенным сочувствием была встречена в Советском Союзе героическая борьба испанского народа. Чувство это не раз всплывает на страницах «Испанского дневника»:

«Мы никогда не знали этого народа, он был далекий и чужой, мы с ним никогда не торговали, не воевали, не учились у него и не учили его... Культура древнего Рима, итальянского Возрождения — прекрасная культура. Она оплодотворила искусство

всего мира и нашей страны. Но неизвестно почему она попутно заслонила от нас Испанию, ее литературу, живопись, музыку, ее бурную историю, ее выдающихся людей. А главное — ее народ, яркий, полнокровный, самобытный, непосредственный и, что удивительнее всего, многими чертами поразительно напоминающий некоторые советские народы. И вдруг этот долго прозябавший в нижнем левом углу материка, никому по-настоящему не известный народ сухих кастильских плоскогорий, астурийских влажных гор, арагонских жестких холмов — вдруг встал во весь рост перед миром. Это он первым в тридцатых годах нашего века полностью принял вызов фашизма, это он отказался стать на колени перед Гитлером и Муссолини, он первый по счету вступил с ними в отважную вооруженную схватку...»

В прекрасных словах этих, помимо одушевляющего их высокого чувства, правильно отмечено, что война в Испании была, по существу, не столько гражданской войной, сколько войной испанского народа против фашистских интервентов.

Регулярные части старой испанской армии, находившиеся в распоряжении Франко, не представляли собой серьезной военной силы. Это была маленькая армия с непомерно раздутым командным составом: по лейтенанту на каждые шесть солдат, по капитану на каждые десять, по генералу на каждые пятьсот. Боевые качества этого войска были низки, в чем, кстати, через несколько лет советские бойцы смогли убедиться на опыте боев с небезызвестной испано-фашистской «Голубой дивизией», действовавшей на Волховском фронте и разгромленной нашими частями.

Реальная сила испанских мятежников — это двухсоттысячная итапо-немецкая армия, переброшенная в Испанию Гитлером и Муссолини и оснащенная полутора тысячами орудий, пятьюстами танками и тысячью самолетами.

Кольцов с горечью замечает:

«Еще полгода назад у фашистских летчиков был только один облюбованный ими полигон, довольно пустынный,— Абиссиния. Сейчас они упражняются над миллионным городом, над испанской столицей. И это так будет? Невозможно поверить».

Кольцов хорошо понимал, какую грозную опасность для всего мира таят в себе события в Испании. Он увидел это раньше многих. Он был свободен от недостатка, за который, по свидетельству Горького, Ленин упрекал Демьяна Бедного, говоря о нем: «Грубоват. Идет за читателем. А надо быть немножко впереди».

Кольцов содрогался при мысли, что перед глазами его разыгрывается пролог мировой войны. Он писал об этом так прозрачно, что можно удивляться глухоте людей, не виявших его страстному голосу.

Он использует каждый удобный случай, чтобы напомнить об этом, предупредить, призвать к бдительности. Рассказывая о налете на Мадрид, он пишет:

«...Юнкерсы уходят, через полчаса возвращаются и начинают сначала. Они решили не оставить невзорванным ни одного вершка на горе Паранко. Так авиация Гитлера вступает в новую мировую войну...»

Или рассказывая о бойцах Интербригады:

«Обороняя Мадрид, они обороняют Париж, Лондон, Копенгаген, Женеву — потому что, расправившись сегодня с испанской демократией, с испанским народом, фашистские разбойники попытаются завтра взять за горло французский, английский, чехословацкий и другие народы Европы и мира,— как вчера они терзали абиссинский и китайский народы».

Как известно, не прошло и года, и предсказание Кольцова сбылось...

Энтузиасты-антифашисты, прибывшие из пятидесяти четырех стран, чтобы сражаться на стороне республиканской Испании,

помогли ей одержать несколько замечательных побед. Интербригадовцам посвящены одни из самых трогательных страниц «Испанского дневника».

Рисуя обаятельный образ венгерского и русского коммуниста генерала Лукача—Залка, павшего в боях за испанскую свободу, Кольцов пишет:

«Он не может привыкнуть к гибели людей, хотя сам ведет их в бой. В мемуарах Амундсена есть одна простая фраза, которая стоит всей книги. Амундсен говорит: «Человек не может привыкнуть к холоду».

К чему это вдруг вспомнились Кольцову слова Амундсена! А вот к чему:

«Потери людей потрясают его (Лукача.—Л. С.). При посторонних он еще держится, но, запершись вдвоем, роняет голову на руки, плечи у него трясутся, уста роняют проклятия и стоны, проклятия и стоны».

Какие человеческие слова!

Они приходят Кольцову каждый раз, когда его потрясает смерть рядом стоящего. Описывая гибель немца-антифашиста, он заключает эту полную трагизма картину словами:

«Истекая кровью, он отстреливался из револьвера от окруживших его фашистов и последнюю пулю пустил себе в голову— в свою умную, храбрую, веселую голову».

Всей отваги двадцати с лишним тысяч интербригадовцев было недостаточно, чтобы сдержать нашествие полчищ фашистских захватчиков.

Реальную военную и продовольственную помощь республиканской Испании оказал Советский Союз. Когда в советских газетах появилась известная телеграмма, отправленная Хосе Диасу, где борьба республиканской Испании определялась как «общее дело всего передового и прогрессивного человечества», это выражало мнение всего советского народа.

Много лет о подвигах русских людей в Испании не писали. Говоря о воздушных боях, которые вели республиканские самолеты, Кольцов не имел возможности раскрыть их происхождение. Он только глухо намекал, что самолетам этим «мадридский народ уже придумал кличку «чатос» — «курносенькие»...

Точно так же, приводя свою беседу с руководителем республиканской военной авиации, Кольцов называет его выдуманым именем — «генерал Дуглас».

Только через много лет, в 1956 году, вышла в Москве книга Х. Гарсиа, где наконец люди и вещи названы своими именами:

«...В самые тяжелые дни, когда немецкие бомбардировщики беспрепятственно летали над Мадридом, появились первые истребители республиканской авиации, полученные из Советского Союза. Они спасали испанскую столицу от варварских бомбардировок германской и итальянской авиации. Народ Мадрида называл их «русские чатос» («чатос» в переводе на русский язык означает «курносые»).

В другой работе Х. Гарсиа, опубликованной в № 9 журнала «Вопросы истории» за 1956 год, расшифрован и генерал Дуглас. Им оказался не кто иной, как славный советский летчик, дважды Герой Советского Союза Яков Смушкевич. В той же статье Х. Гарсиа приведены имена и некоторых других советских людей, отдавших свои военные знания и боевой опыт делу борьбы с фашистскими интервентами в Испании. Среди них генерал Штерн («Григорович»), летчик А. Серов, генштабисты Малиновский, Мерецков, Родимцев.

В «Испанском дневнике» то и дело читаем мы призывы о помощи республиканской Испании, то открытые, то слегка замаскированные, то вложенные в уста его героев.

«Если республика хочет устоять,— говорит Мартинесу майор-фронтовик,— ей нужны французы, или Мексика, или Россия...»

Через много лет, в 1956 году, Жан Дюкло писал о тех же событиях:

«Никто не может отрицать, что если бы, например, французское правительство помогло Испанской республике, то она победила бы, и ход событий в Европе был бы другой. В таких условиях Гитлеру было бы очень трудно развязать войну 1939 года, если, конечно, не было бы также позорной мюнхенской капитуляции».

«Испанский дневник», таким образом, это не просто летопись военных событий. Это глубокий, проницательный анализ и прогноз политических событий.

В то же время Кольцов находит место и для великолепных по своей чистой и страстной живописи описаний Толедо, Эскориала, мадридских улиц, ламанчских деревушек. Я воздержусь от цитат, ибо с этой книгой происходит то же, что со всякой хорошей книгой: хочется процитировать ее всю целиком.

Кольцов «Испанского дневника» — это новый Кольцов. Не утрачивая своего острого, мужественного стиля, он стал глубже, тоньше. В этой книге как бы слились политик, историк, поэт. Этот сплав лиризма, иронии и политической страстности порой близок манере Гейне в его политических статьях, а временами заставляет вспомнить о художественной публицистике Герцена.

Разнообразны чувства, которые возбуждает «Испанский дневник». Страницы, описывающие отступление республиканцев от Толедо, заставляют вас в бессильном гневе сжимать кулаки. Вы не в силах сдержать смех, когда Кольцов пускает в ход оружие своего сатирического таланта.

Вот пример сарказма, который он обрушивает на противника:

«Всего две недели назад Франко объявил, что Мадрид был бы давно занят, если бы не его, Франко, нежелание подвергать ужасам артиллерийской и воздушной бомбардировки мирное население столицы. Гуманизм, вдохновленный метеорологическими

сводками, размокшим грунтом аэродромов! Высохли аэродромы — высохло и человеколюбие Франко и Геринга!»

Сатирические стрелы Кольцова не щадят и республиканское правительство — особенно в период того «романтического» хаоса, который господствовал в начале войны. Говоря о стратегическом плане республиканцев, Кольцов замечает в скобках:

«...{этот секретный план, конечно, известен и мне,— чем я хуже других!}...»

Сам скрупулезно правдивый в своих корреспонденциях, Кольцов подтрунивает над приверженностью к сенсациям некоторых зарубежных журналистов. После возвращения из опасной поездки в Валенсию, он пишет:

«...Вернувшись в Мадрид, я под честным словом рассказал иностранным журналистам, что валенсийская дорога, вопреки лживым басням мятежного радио, до сих пор является проезжей для всех видов транспорта и что это мной лично проверено. Двое корреспондентов послали телеграммы. Я все-таки не послал. Не надо преувеличивать».

Ничто смешное не ускользало от острого взгляда Кольцова. В том числе и он сам. Ему надо было лететь в Бильбао. Вокруг этого города шли бои. Нашелся летчик, который все же брался доставить Кольцова в Бильбао. Его предупредили, что этому летчику нельзя доверять.

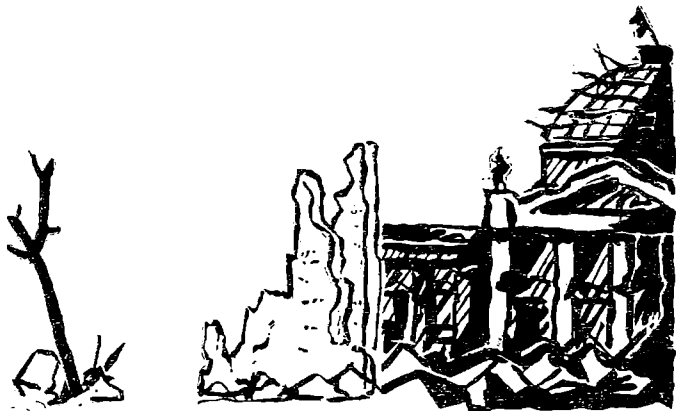
«Но если никому не верить,— рассуждает Кольцов,— не надо лететь. А я хочу лететь и полечу. Надо быть нахалом, во всяком случае на войне. Еще ни в одной войне от сотворения мира не побеждали тихие, задушевные, уступчивые люди».

А через несколько страниц — с меланхолическим юмором: «Я не попал в Бильбао. Я не нахал. Я слишком много о себе воображаю».

Это ироническое преувеличение. Кольцов не воображал о себе слишком много. Скорее, наоборот. Его нельзя было упрек-

нута в недостатке самоуверенности. Но это выразалось главным образом в решительном, активном характере Кольцова. Что же касается самооценки своих художественных дарований, то здесь он был склонен к преуменьшению. Вряд ли он подозревал, каким большим шагом вперед в его творчестве явился «Испанский дневник».

Читая его сейчас, мы остро ощущаем, какого выдающегося писателя утратили мы и сколько еще значительных и своеобразных книг могла бы создать эта «умная, храбрая, веселая голова».



ТРИ ВОСХИЩЕНИЯ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Я познакомился с Всеволодом Ивановым давно, в незапамятные времена «Красной нови».

В редакции этого толстого ежемесячника работало шесть человек. Это нисколько не мешало (а, может быть, даже и помогало) тому, что «Красная новь» была превосходным журналом.

Редактировал его сначала А. Воронский, потом Ф. Раскольников, а в мое время Иван Беспалов. Я называю «моим временем» 1930 год, потому что тогда на страницах «Красной нови» появилась моя первая большая вещь. Она-то и послужила поводом к знакомству с Всеволодом Ивановым.

В одной рапповской статье мой роман подвергся вздорным и злобным нападкам. Писательская шкура моя тогда еще не была обмозолена, и я страдал.

Однажды на улице кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся. Это был Всеволод Иванов. Его широкоскулое лицо со скошенными монгольскими глазами светилось доброжелательством. Этот большой писатель счел нужным сказать своему начинающему, почти незнакомому коллеге несколько хороших, ободряющих слов. Мне это очень помогло.

Не много было писателей, которых мы тогда в юношеской заносчивости нашей причисляли к разряду «настоящих». Всеволод Иванов был среди них. Нам нравилось его «Тайное тайных». Рассказ «Сервиз» из этого сборника мы считали шедевром мировой новеллистики. А через несколько лет бурно приветствовали появление первой части «Похождений факира».

Но мое личное знакомство с Всеволодом Вячеславовичем не двигалось далее размена поклонами и кратких реплик при случайных встречах. Шли годы, а наши пути не скрещивались.

В феврале 1945 года, то есть за три месяца до окончания войны, военные корреспонденты на 1-м Белорусском фронте некоторое время базировались в Мендзыхуде.

Узкие, кривые улочки, непомерно большой костел, несколько тысяч познанских поляков, свободно говоривших по-немецки, и наши подразделения, рассыпавшиеся по всему городку, — вот физиономия этого польского захолустья.

Однажды в корреспондентском пункте «Известий» появился Всеволод Иванов.

Мне случилось быть на четырех войнах, из которых две мировые, и я, кажется, имею достаточно оснований утверждать, что в боевой обстановке характер человека проявляется довольно отчетливо.

На фронте не надо съедать с соседом пуд соли, чтобы распознать, каков он. Достаточно щепотки. Потери убитыми среди военных журналистов были довольно велики. В этой обстановке люди раскрывались без всякого промедления и до самого дна.

Мы жили трудной фронтовой жизнью и зачастую от бойцов отличались только тем, что сражались не автоматом, а пером. А случилось, и автоматом.

И вот в этих наших огрубелых буднях появилось видение из забытой мирной жизни: ухоженный, благоухающий человек в белоснежной рубашке с галстуком, в добротном демисезонном пальто и в фетровой, со вкусом заломленной шляпе. Все в нем было мирное, гражданское, даже орден, поблескивавший в петлице.

В те дни наш фронт сделал только первый шаг на немецкой земле. Это случилось месяц назад, и клочок бывшей фашистской империи давно уже не волновал нас. А Всеволод Иванов первым делом устремился туда.

Я сопровождал его.

Посреди небольшой площади стоял памятник Фридриху II. Вокруг него играли дети.

Иванов с волнением оглядывал все вокруг. Я понимал его чувства. Только два года назад немецкие кони пили волжскую воду. А вот сейчас мы стоим на их земле, а на перекрестке на дорожной стрелке написано: «ДО БЕРЛИНА 170 КИЛОМЕТРОВ».

Всеволод Вячеславович перевел взгляд на детей. Они были худы, бледны. Особенно вот эта маленькая девочка в очках.

Большая, добрая ладонь Всеволода легла на ее головку.

Он не видел, как мы, газовые печи Майданека под Люблином и эти страшные бараки с одеждой умерщвленных узников, с их очками, зубными протезами, женскими волосами. Он не видел, как мы, длинную ровную аллею виселиц в Детском Селе и рвы под Кингисеппом, заваленные трупами.

— Послушайте,— сказал он, как всегда чуть пришепетывая,— мы там захватили кое-что на дорогу. Отдадим ей, а?

Я покосился на девочку. Она не отрываясь смотрела на Все-

волода Иванова, на его лицо доброго Будды, она смотрела снизу вверх, задрав голову, как смотрят на взрослых дети и собаки. Потом она перевела свой робкий взгляд на меня.

Я вынул из машины банки с консервами, с молоком и насыпал ей в подол.

Потом я проклял свою жалостливость, и мы поехали дальше.

Поминутная проверка документов надоела Всеволоду Иванову. Иногда, не доверяя документам, его вели в штаб для установления личности. В конце концов он попросил, чтобы его переодели в военную форму.

Это сделали, конечно. Но так как Всеволод Иванов не состоял, в отличие от нас, в кадрах армии, то одели его не очень тщательно. Особенно плохо обстояло дело с головным убором. Для большой головы Всеволода Вячеславовича не нашлось подходящей фуражки. И она как-то сразу села блином на самой макушке. В сочетании с очками это производило незабываемое впечатление.

К тому же он не носил погон. Но на поясе у него висел подсумок, как если бы он только что вылез из окопа. Мало кто знал, что в этом подсумке не патроны, а сигары.

В общем, такого рода фигуру можно было встретить в 1941 году в народном ополчении. В 1945 году она выглядела анахронизмом. Для обозника Всеволод Иванов выглядел слишком интеллигентным, для фронтовика недостаточно профессионально.

Так что, сменив гражданское платье на военное, Иванов не перестал привлекать к себе внимание патрулей. Но даже в этом необычном и немного смешном «оформлении», благодаря чувству достоинства и естественному благородству, присущему всему существу Всеволода Иванова, он продолжал сохранять в своем

облике что-то величественное, царственное, даже божественное, конечно в буддийском смысле.

Я сделался гидом Всеволода Иванова и провел его сквозь толщу фронта. Мы начали с штабного городка, где маршал с легендарным именем, плененный обаянием Всеволода Вячеславовича, долго не отпускал его. Побывали мы и в разведке. Там юный капитан Лева Безыменский рассказал нам о гитлеровской армии. Его удивительная память содержала в себе как бы карту тотеку начальствующего состава противостоящих фашистских войск.

Спускаясь все ниже, не раз мы попадали в довольно горячие места. Всеволод Иванов держал себя там с хладнокровием старого охотника. Он был хорошим спутником в таких поездках. Он излучал какое-то спокойное, неторопливое мужество. Мне нравился его юмор, его товарищеская верность, смелость его мысли, самое лицо его с этим монгольским прищуром умных глаз. Я находил очарование даже в его пришепетывании и понимал Плутарха, который, рисуя портрет Алкивиада, даже недостатки его прокношения считал обаятельными.

Второго мая гитлеровцы капитулировали. Но 1 мая они еще ожесточенно сражались на улицах Берлина.

Чтобы поспеть на разные участки берлинского сражения, мы делали большие круги по городу. Мы ехали тремя машинами.

Моросило, в воздухе плавала копоть пожаров, пахло сиренью, и стоял гул артиллерийской пальбы, прерываемый пулеметной трескотней.

С «эмкой», где ехали тассовцы, случилась какая-то неисправность, и наш маленький цуг остановился у дома, где размещалась авторемонтная часть.

«Эмка» въехала во двор авторембазы, а мы остались снару-

жи. У меня был опыт уличных боев, и свой старенький «виллис», на котором я проделал весь путь от Москвы до Берлина, я предусмотрительно вкатил на тротуар. Товарищам я посоветовал сделать то же.

Но Всеволод и его спутник поставили свой новенький трофейный «ханомаг», как полагается, на мостовой у обочины.

Мое деликатное замечание, что на войне правила уличного движения соблюдаются не строго, было встречено язвительными насмешками. Я замолчал и отошел в сторону. Всеволод Вячеславович и его спутник остались в машине и любовались ее нарядной обшивкой.

В это время показались танки «ИС», огромные как горы. Они шли из боя. Башенные люки были открыты, и оттуда выглядывали танкисты. Какие у них счастливые лица! Еще бы! Первое мая! Фашисты разбиты! Мы в Берлине! Есть от чего возликовать, даже немного посумасбродствовать.

Увидев «ханомаг», один из этих гигантов попер на него.

Всеволод Иванов и его спутник сидели на правой половине машины, один впереди, другой сзади. Они продолжали с упоением обсуждать высокие качества «ханомага».

Танк наехал на него сзади. Огромной своей гусеницей он наступил на этот маленький изящный автомобиль, как сапог пешехода на божью коровку. Но точно — на левую половину.

Так что, когда вы потом смотрели на эту машину, то вы видели, что правая ее половина осталась такой же целехонькой и элегантной, как прежде.

А левая превратилась в плоский металлический блин.

Танкист оглянулся. На его закопченном лице весело сверкали зубы. Видимо, он был очень доволен, как бывает доволен человек, отпустивший милую, добродушную шутку.

Спутник Иванова, чертыхаясь, выскочил из машины. Он махал рукой, грозя танкисту.

А Всеволод Иванов смотрел вслед танкисту с восхищением. — Математически точная работа! — сказал он. — Теперь вы видите, товарищи, каким высоким мастерством обладают наши танкисты!

День 5 мая 1945 года. День печати.

Помнят ли его мои товарищи, военные корреспонденты, спешившие в Берлин со всех фронтов Германии, Австрии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, Чехословакии!

Мы снялись всем корреспондентским гамузом. Я сохранил эту фотографию. На ней около ста военных журналистов. Среди них и Всеволод Иванов в солдатских сапогах и фуражечке-сковородке, с сигарным подсумком на поясе и записной книжкой в руке. И на лице выражение счастья, которое испытывали в те дни все мы.

К рейхстагу мы подъехали еще утром. Забрались внутрь, бродили по полуразрушенным залам со следами свежего боя.

Всеволод Иванов то и дело нырял в свой блокнот, что-то записывал. И все же он был не удовлетворен. Он не увидел героев боя за рейхстаг. Это огорчало его. Но мыслимое ли дело отыскать их в этом нескончаемом потоке военных, протекающем сквозь рейхстаг!

Мы вышли на улицу. Еще раз оглядели рейхстаг снаружи. Всеволод Вячеславович сказал, озирая его мрачный обгорелый остов:

— Обратили внимание? Гитлеровцы начались его пожаром и кончились его пожаром. Вся их грязная история между этими двумя пожарами...

Навстречу нам шли три генерала. Их вел молодой щеголеватый офицер, что-то оживленно объяснявший им, показывая на рейхстаг.

Взгляд его упал на Всеволода Иванова.

Офицер покраснел от гнева. Ему стало стыдно перед генералами за этого солдата, такого неряшливого, даже без погон и в этой ужасной сплюснутой фуражке да еще с толстой, дымящейся сигарой во рту!

— Марш в комендантское! — прошипел он. — На гауптвахту! На трое суток!

И проследовал с генералами дальше.

Я вскипел:

— Мальчишка! Он не знает, к кому он обращался! Я заставляю его извиниться!

Всеволод остановил меня:

— Не узнали! Это же он! Ну, он! Герой рейхстага. Блестящий парень, а!

И он добавил, глядя на меня умными, веселыми глазами:

— Я очень рад, что наша встреча с ним все-таки состоялась...

Мы мчались по магистрали, опоясывающей Берлин. Это дорога умопомрачительной гладкости. Ничто ее не пересекает. Все мосты сделаны заподлицо, и она настолько широка, что на ней приземлялись наши бомбардировщики.

Мы мчались, упоенные быстрой ездой.

А по ту сторону дороги навстречу нам шла вся Европа. Бесконечной лентой тянулись узники, освобожденные из фашистских концлагерей.

Внезапно из этой колонны отделился человек и замахал руками.

— Поехали, у нас нет места, — сказал один из нас.

— Тем более что он угрожает, — сказал другой.

— Товарищи, это сигнал бедствия, надо остановиться! — сказал Всеволод серьезно.

Мы остановились, что при такой скорости нам удалось не сразу.

Человек долго бежал к нам. Он был пожилой, к тому же истощенный, как все вышедшие из лагерей.

Добежав, он протянул руку куда-то вдаль и сказал, одолевая одышку:

— Die Brücke ist zerstört!¹

Мы посмотрели вперед. Никаких признаков разрушения видно не было. Идеальной гладкости лента простиралась перед нами.

Водитель недоверчиво усмехнулся. Засомневался и я.

Всеволод Вячеславович поблагодарил старика.

Когда он удалялся, мы заметили на его спине желтую звезду, которой гитлеровцы отмечали евреев.

Мы медленно поехали вперед.

Пропасть открылась внезапно, буквально в нескольких метрах от нас. При нашей сумасшедшей скорости на этой зеркальной дороге никакие тормоза не успели бы нас спасти.

Молча постояли мы на краю пропасти. В ней было не меньше метров тридцати вглубь. На дне валялось несколько разбитых машин. Я бросил туда камень. Несколько больших черных птиц нехотя поднялись над какой-то бесформенной кучей. Мы отвернулись.

— А за старичка надо выпить,— сказал шофер.

— Недаром я всю жизнь любил этот народ,— пробормотал Всеволод.

Мы вернулись в машину и поехали в объезд пропасти.

Почти всегда в руке у Всеволода была записная книжка. По-видимому, тогда уже у него рождался замысел его романа «При взятии Берлина», где рядом с драгоценными наблюдениями и

¹ Мост разрушен! [нем.]

тонкими мыслями соседствовали торопливые записи. Но и в них есть дыхание войны и прелесть непосредственных впечатлений. Может быть, он намеренно оставил их как бы в неотработанном виде для усиления достоверности описаний!

А ведь поначалу у него был другой замысел. Он не раз говорил, что будет писать пьесу о конце фашизма. Это подтверждается и письмом Всеволода Вячеславовича, которое я получил уже после войны, но еще там в Берлине, куда я вернулся из поездки на запад Германии:

«Дорогой Лев Исаевич! Мы уезжаем по маршруту, установленному судьбой и богом. Буду рад, если Вы догоните где-нибудь нас. А если нет, с той же радостью встречу Вас в Москве. Думайте о пьесе. Я обязуюсь думать тоже...»

Уже в Москве он говорил мне, что обширность материала заставила его избрать жанр романа.

Он всегда считал своей большой удачей, что ему посчастливилось собственными глазами увидеть победу над бестией фашизма.



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Есть писатели легкой судьбы. А есть — трудной. Все было у Андрея Платонова — талант выдающийся, обширная образованность, знание жизни, высокая идейность. Одного не было дано ему: житейской ловкости. Но ведь отсутствие ее тоже украшает человека. Андрей Платонов был писатель трудной судьбы. А между тем по составу своей натуры он был человеком радостным. Даже в самые тяжелые для себя дни он сохранял светлый дух. Он жил с открытым сердцем.

Как-то в нехороший для него период, в последний год его жизни, когда он тяжело болел, зашел я к нему. Он сидел в кресле с книгой в руках. Поднял голову. Вижу: его некрасивое, простонародное, прелестное лицо светится веселостью. Заглянет в книгу и тихо засмеется. Это был довольно известный в ту пору роман, отнюдь не юмористический, наоборот — сугубо «проблемный». Спрашиваю:

— Что вас так смешит!

Он говорит:

— Знаете, если бы это было написано еще немножко хуже, это было бы совсем хорошо.

Это был смех удивления. Платонова поразили почти пародийные несообразности этой книги, и впечатление его тотчас вылилось в этих немногих, убийственно метких словах.

В пору своей молодости Андрей Платонов любил иногда поиграть словом и образом, попробовать свои силы по-озорному: «А дай-ка я сюда поверну сюжет...», «А дай-ка я толкну своего героя поступить этак...» И поворачивал, и толкал. Это были забавы силача. Сам Платонов писал о них через много лет:

«Я совершил несколько грубых ошибок».

К сожалению, за этими ошибками кое-кто не увидел большого, мужественного, честного художника.

Вспоминаю, как на одном собрании к Платонову подошел критик, ныне уже покойный. Он спросил у Андрея Платоновича:

— Как вы находите мою статью о вас!

Статья эта, написанная в стиле «чтения в сердцах», обвиняла Платонова в не совершенных им политических грехах.

Андрей Платонович спокойно ответил:

— По-моему, это не статья, а заявление.

Подобные статьи, к сожалению, имели то последствие, что голос Платонова, один из самых чистых и умных голосов в нашей литературе, почти не звучал в сороковых годах. Полушутя, полусерьезно Андрей Платонович повторял афоризм Наполеона: «Слава — это солнце мертвых».

В 1950 году Платонову после долгого молчания удалось наконец выпустить книгу сказок «Волшебное кольцо», и то благодаря благородной помощи Шолохова, который поставил свое имя как редактора на этой книге. Это пересказ народных сказок, сделанный великолепным русским языком.

Вообще русское, национальное было выражено в Платонове

очень сильно. Выражалось оно, разумеется, не в том, что он носил косоворотки с расшитым воротом или раздражался декламацией о любви к родине. Но в языке, в образности, в военной судьбе, в характере мышления, даже в говорке. Оно, это русское, национальное, существовало в нем непринужденно и естественно, как дыхание. Он всегда мне казался русским интеллигентом в его самом чистом выражении.

И вместе с тем кое-что в его писательском облике было родственно очарованию француза Экзюпери. И в этом нет ничего противоречивого: то, что по-настоящему национально, то по-настоящему и является общечеловеческим.

Своеобразным было отношение Платонова к природе. Инженер по образованию и по практической деятельности, он объединял цивилизацию и природу в одно разумное целое. Он писал в своей автобиографии:

«Рост травы и вихрь пара требуют разных механиков».

Случайно, походя, в разговоре обнаруживались его обширные познания в естественных науках, в философской литературе.

В природе для него не было ничего противного. Даже червь, которого находит мальчик Егор из рассказа «Железная старуха», червь, который обычно вызывает ощущение гадливости, так изображен писателем:

«Червь дремал... от него пахло рекою, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий, наверно детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик».

В одной из своих критических статей, которые, кстати, отличаются не только глубиной мысли, но и изяществом формы, Платонов писал «о литературе, которая действовала бы «на прямую», то есть кратко, экономно, но с глубокой серьезностью излагала бы существо того дела, которое имеет изложить писатель».

Это и было одно из характерных свойств Платонова как писателя и стилиста в лучших его вещах: он прямо идет к це-

ли, не позволяет себе уклониться от нее ни на миллиметр. И он идет до дна, он беспощаден. Это толстовское свойство.

Энергия образности его временами поразительна. Вспомним старого паровозного машиниста из чудесного рассказа «Фро», которого перевели на пенсию, а он тосковал по работе и каждый день ходил в депо и, пишет Платонов, «возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения».

Говорят о гуманизме Платонова, о его любви к людям и т. д. Да, конечно. Но забывают о его сатирическом даре, о мече, который он не выпускал из рук.

Когда Платонов пошел на войну, снова, как и во время гражданской войны, выяснилось, что он обладает обоими видами храбрости — и интеллектуальной, и физической.

Кажется, в сорок втором году я встретил его на Тверском бульваре у «Дома Герцена», где он жил. Военная гимнастерка не щегольски, но ладно сидела на нем. Он приехал, помнится, из-под Ржева. Узнав, что я с Юго-Западного фронта, он встрепетнулся:

— Ну, как там в Воронеже Ямская слобода? У нас или у немцев?

Это была его родина. Он потребовал, чтобы я рассказал ему, какие дома в Воронеже разбиты. Лицо его темнело во время моего «доклада». Он ни минуты не сомневался в нашей победе. Кстати, его корреспонденции с фронта принадлежат к тем немногим военным очеркам, которые живы и сейчас.

Андрей Платонович очень любил детей, и я не знаю, что может сравниться с его циклом «Рассказы о детях» — по силе, поэтичности, нежности, великодушию, глубине, — разве что рассказы того же Экзюпери.

И этому человеку, который так любил детей, суждено было пережить потерю сына. Притом дважды. Сначала сына его, маль-

чишку, сослали — факт ужасающей жестокости бериевской шайки. Тут снова помог Шолохов. Ринулся на выручку, дошел до человека, который тогда стоял над страной, и выручил. Вернули юношу. Но уже смертельно больным. Он умер от туберкулеза на руках у Андрея Платоновича, предварительно заразив его.

Человек создан для счастья. Но оно когда-то было так редко, что в писателе не накапливался запас жизненных наблюдений о счастье.

И Платонов изображал человека в трудных условиях существования и показывал, как все мужественное и светлое, что есть в человеке, напрягается и достигает блеска.

Последние годы Платонова были омрачены тяжкой болезнью.

Он вел себя мужественно.

Он даже открыл некоторые радости в ней.

Дело в том, что в эти горькие для него дни люди старались помочь ему. И Андрей Платонович радовался не только тому, что облегчили его существование, но и тому, что благодаря этому он открыл, что есть в мире целая группа людей, которые бескорыстно и деятельно заботились о нем.

Он говорил:

— Если бы не моя болезнь, я бы так и не узнал о любви ко мне столько хороших людей.

Это трогало его до слез.

Многое изменилось за годы, прошедшие после смерти Андрея Платонова. Как бы он радовался XX и XXII съездам партии, космическим полетам, кварталам новых домов! И, наверно, все-таки немножко огорчился бы, узнав, что исчезают паровозы, которые он так любил.

В одном из военных очерков своих Платонов писал о том, «как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его». Не

«смертию смерть поправ», а жизнью «смерть поправ» — вот философия Андрея Платонова, одного из самых жизнелюбивых писателей нашего времени.

«Великая поэзия, — писал он в одной своей статье, — есть обязательная часть коммунизма».

Думаю, что книги Платонова входят в обязательную часть коммунизма.



НОЙ ЛУРЬЕ

Когда я познакомился с Ноем Лурье, я его не знал как писателя. Он меня сразу заинтересовал как умный и душевно красивый человек. Я любил ходить с ним по художественным выставкам. Он хорошо понимал живопись и интересно судил о ней. И еще я любил ходить с ним по лесу. Позже, когда я прочел его книгу «Лесная тишина», я понял, почему в лесу он чувствовал себя как дома.

Но он мне нравился, повторяю, и тогда, когда я еще не прочел ни строки из его книг. Мне нравилось и самое лицо его тонких и сильных очертаний. Чем больше я узнавал Ноя Григорьевича, тем больше я убеждался, что в нем было все красиво, не только внешность, но и чувства, думы, вкусы.

Он редко говорил о себе. Этим он напоминал мне Илью Ильфа, Бориса Лапина, Андрея Платонова, людей большой душевной культуры. Правда, среди выдающихся людей, которых мне довелось узнать, были и такие, которые при прочих очаро-

вательных качествах не отличались большой скромностью, эгоцентрики и самовлюбленные. Но это их не украшало.

Если Лурье иногда в разговоре и упоминал о себе, то только для того, чтобы подчеркнуть, что то, о чем он рассказывает, он видел собственными глазами.

Так постепенно я узнал, что он был солдатом царской армии во время первой мировой войны. Потом бойцом и политработником Красной Армии, куда он вступил добровольно. Уже от других людей я узнал, что он переменял много профессий, был грузчиком, строителем, рабочим, школьным учителем. Но всегда и прежде всего писателем. Он был писателем до кончика ногтей, как Лир был до кончика ногтей королям.

Узнал я и о том, что он безвинно пострадал, оклеветанный какими-то мерзавцами. И вот поразительная и очень характерная для Ноя Григорьевича подробность. Однажды в том месте заключения, где он содержался, он увидел только что доставленного туда одного из своих клеветников,—он сам попался в западню, которую ставил другим. Он задрожал, увидев Лурье.

Ной Григорьевич подошел к нему, ободрил его, поделился с ним тем немногим, что у него было. Он сделал это не потому, что был таким уж «христосиком». А потому, что он был человеком. Мужество, сила соединялись в нем с добротой, с жалостью, с состраданием. Он оставался равным самому себе во всех обстоятельствах, в которые ставила его жизнь. Упоминаю об этом потому, что иных людей культ личности оглулял. Гёте как-то сказал, что «величайшее счастье человечества — личность». Вот это счастье — высокое человеческое достоинство — Ной Лурье не терял никогда. И это чувствовалось. И потому меня сразу к нему потянуло.

Я уже упоминал, что Лурье был лесной человек. Принято думать, что евреи — городской народ. Ной Григорьевич вырос в лесу, на смолокурне. Он писал в романе «Лесная тишина»:

«В белорусских лесах, сплошными массивами простиравшихся от полесских трясин до Беловежской пущи, жило много еврейских семейств,— возчиков и приказчиков, смолокуров и плотников, кузнецов, гончаров, мельников. Сквозь чащобу была уже проложена железная дорога, и пастухи, никогда не видевшие поезда, слышали доносившиеся ветром далекие, тревожившие сердце гудки».

Когда Лурье попадал в лес, он менялся. Он сам как бы становился частью леса. Не о себе ли писал он:

«Когда ты смотришь на сосны, сам как будто становишься выше, прямее».

Он узнавал птиц по голосам. Он знал в лицо все травы. Он ходил по лесу гораздо увереннее, чем по городу.

Герой его романа «Лесная тишина», мальчик Даня, в образ которого Лурье вложил черты своего детства, заблудился в городе:

«...Куда идти! В какую сторону! В лесу, даже в новом месте, всегда ясно представляешь себе, откуда ты пришел, как выбраться на дорогу. Тропинка на тропинку не похожа, каждое дерево, каждый куст имеет свои особенности и может служить знаком. А тут ничего не поймешь...»

Как-то мы с Лурье гуляли в лесу в Голицыне, под Москвой. Мы остановились возле одной ели. Она поразила нас своей формой. Дерево было раздвоено, притом очень гармонично. И мы придумали игру: стали состязаться в изобретении сравнений для этой ели — лира, вилы, камертон, оленьи рога. Внезапно Ной Григорьевич прервал игру. Он стал вслушиваться. Пела птица. Это была несложная фраза из двух нот, беспрестанно повторявшихся: «уи-уити-уити...»

И так несколько раз. Лурье слушал как зачарованный. Такое выражение лица я видел только у слушателей в консерватории на концертах мировых музыкантов.

Наконец он сказал:

— Это сиккца, — таким тоном, как если бы он сказал: «Это Святослав Рихтер».

А птичка все тянула свое «уи-уити-уити». Я спросил:

— Это все, что она умеет!

Лурье недовольно на меня посмотрел и кивнул головой. Мне стало смешно, и я сказал:

— Бедноватый язык.

Ноя Григорьевич посмотрел на меня почти сердито и проворчал:

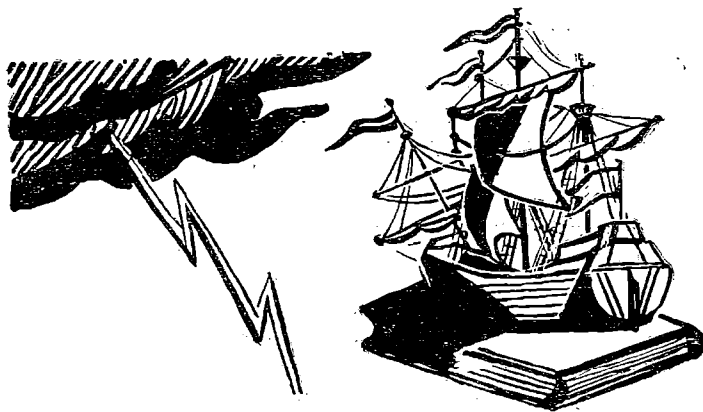
— А разве нет писателей, которые всю жизнь бубнят две-три ноты!..

Когда я познакомился с произведениями Лурье, я уже не удивлялся тому тонкому чувству природы, которым они проникнуты. От его романа пахнет лесом. Иногда это похоже на Купера, иногда на Аксакова. Но больше всего на самого Лурье, который вложил в эту книгу поэзию, переполнявшую его, и знание человеческого сердца.

Кроме «Лесной тишины» я знаю только несколько рассказов Лурье. Это немного, но этого довольно, чтобы понять, что он крупный художник. Правда, я это читал в переводе на русский язык, и мне могут сказать, что достоинства прочитанных мною произведений Лурье отчасти и заслуга переводчика. Да, конечно. Но переводчик-то сам Лурье.

Когда я узнал Ноя Григорьевича, сердце его уже висело на волоске. Но временами вы забывали об этом — такой жизненной силой дышал весь облик этого человека.

Его вкус, образованность, горячая заинтересованность в судьбах страны и мира и какое-то свойственное ему мужественное благородство делали облик его таким, что сейчас всякий раз, когда я вижу что-нибудь красивое, я вспоминаю Ноя Лурье, потому что он тоже был одной из красот этого мира.



ВИКТОР КИН

Виктор Павлович Суровикин [настоящая фамилия Кина] происходил из самой что ни на есть рабочей пролетарской среды. Он вырос в семье паровозного машиниста в маленьком провинциальном городке Борисоглебске. Но, честное слово, самые утонченные аристократы могли бы позавидовать благородству его манер, тонкости его вкусов и изяществу, отличавшему весь его облик.

О Викторе Кине можно сказать, что его жизненной школой были революционные бои, а литературной школой — газетная работа.

Те, кто помнят Виктора Кина, знают, как похож он был на героев своего романа «По ту сторону», притом на обоих сразу — и на Безайса, и на Матвеева. Конечно, это портрет поколения. Но это и автопортрет. Виктор Кин был из авангарда той заме-

чательной молодежи, которую русский рабочий класс и революционная интеллигенция дали в первом десятилетии нашей революции.

Да, это были замечательные ребята! Это были героические подростки. Виктор Кин подавлял антоновский мятеж, дрался на польском фронте, работал в партийном подполье на Дальнем Востоке. И все это в семнадцать-восемнадцать лет! Очевидно, в жаркие эпохи, как и в жарких странах, люди созревают быстрее. В Викторе не было ничего смутного, колеблющегося, раздвоенного. И эту цельность он пронес через всю жизнь.

Вот характерный штрих. Тридцатые годы. Фашистский Рим... Кин — корреспондент ТАСС в Италии. Заболел его шестилетний сын. Отец приводит мальчика к врачу, чтобы сделать противостолбнячный укол. Мальчик сопротивляется, он боится шприца. Отец шепчет ему: «Ты видишь на враче фашистский значок! Неужели ты покажешь фашисту, что ты струсил!» Мальчик стиснул зубы и храбро перенес укол.

В те годы Кин говорил, что он мечтает дожить до того времени, когда восставший народ вздернет Муссолини. Предсказание Кина сбылось. Но только наполовину. Сам он не дождал до его свершения. Он не мог предвидеть того чудовищного, что случилось с ним самим.

В конце двадцатых годов одна из московских газет напечатала подборку, посвященную молодой тогда советской литературе. Подборка называлась: «Десять лучших книг». Среди них был только что вышедший тогда роман двадцатипятилетнего Виктора Кина «По ту сторону».

Много лет прошло с тех пор. Виктор Кин существовал как литератор всего десять лет. Он прожил тридцать четыре года, половину этих лет он был в партии. Сейчас ему было бы за шестьдесят,

В последний раз его роман был издан в 1937 году. И потом почти двадцать лет небытия. И только в 1956 году эта маленькая книга снова вышла в свет.

Для тех, кто помнил «По ту сторону» и еще был жив, это было радостным свиданием. Но, может быть, эта радость была не более, чем сентиментальными воспоминаниями расчувствовавшихся старичков!

А вот как примут этот старый роман современные читатели, которые и имени Кина никогда не слышали! Что юношам новых поколений до какой-то там Дальневосточной республики, об эфемерном существовании которой они и не подозревали!

И вдруг оказалось, что 150-тысячный тираж «По ту сторону» бурно разошелся. Книга вскоре стала библиографической редкостью. Никто ее не продвигал, она сама стала собственным пропагандистом. Сила чувств и благородство помыслов, идейная чистота, мужество, революционный запал, дух партийного товарищества — это не выцветает от времени.

И если бы кто-нибудь вздумал сейчас снова составить список десяти лучших книг, вероятно, многое бы в нем переменилось. Но маленький роман Кина прочно занял бы там свое прежнее место.

«По ту сторону» — это, в сущности, биография одного из самых романтических поколений нашей революции, его страстей, его идей, его надежд, его трагедий. В духе этого романа есть что-то общее с «Оводом».

Можно удивляться искусству, с каким молодой автор сумел рассказать о столь многом на девяти с небольшим листах. Но им предшествовали горы черновиков.

Все в этой книге свежо и пленительно, все волнует, все важно, как и десятки лет назад. Сюжет романа прост и силен. В 1921 году гражданская война догорала. Ее последние вспышки еще полыхали на отдаленной восточной оконечности нашего оте-

чества. Она называлась тогда Дальневосточная республика и, в сущности, ничем не отличалась от Советской Федерации:

«...Герб, почти советский, но вместо серпа и молота были кайло и якорь. Флаг был красный, но с синим квадратом в углу. Армия носила пятиконечные звезды — но наполовину синие, наполовину красные...»

Вот туда-то, в ДВР, в тыл врага, по ту сторону фронта и едут, выполняя партийное поручение, Безайс и Матвеев. Они объаты романтической жаждой подвига. И жизнь выдает им чаемое полной мерой.

Черты комсомольцев начала двадцатых годов запечатлены Кином с большой, иногда беспощадной точностью. С одной стороны, высокая правда революции. С другой — жестокости гражданской войны. В этом пламени закалялись героические подростки Октября.

«Мир для Безайса был прост. Он верил, что мировая революция будет, если не завтра, то уж послезавтра наверное. Он не мучился, не задавал себе вопросов и не писал дневников. И когда в клубе ему рассказывали, что сегодня ночью за рекой расстреляли купца Смирнова, он говорил: «Ну что ж, так и надо», — потому что не находил для купцов другого применения».

Одного из героев романа постигает трагическая судьба. Но это не окрашивает книгу в мрачные тона. Да, Матвееву плохо, но это была революция, и это было чисто, и своей чистотой революция произывала жизнь.

Вот почему резкости, порой даже грубости этой книги не оскорбительны. Это грубости жизни. Тут нет смакования. «По ту сторону» — книга целомудренная, но без ханжества.

Автор отнюдь не героизирует Безайса и Матвеева. А между тем они герои. Да не только они. Многие тогда на призыв эпохи отвечали подвигом.

«На этой Дворянской один парень из наробраза выпустил в

белых шесть пуль, а седьмой убил себя. Безайс его знал,— он косил глазами и рассказывал глупейшие армянские анекдоты. Живи он в другое время, из него вышел бы уездный хлыщ, а впоследствии степенный отец семейства».

В романе немало таких острых, сжатых характеристик. Вот о Матвееве, например: «Он смотрел на мир со спокойной улыбкой человека, поднимающего три пуда одной рукой». Выразительная лаконичность — одно из крупнейших достоинств романа Кина. Небольшой, а какой ладный, как мастерски сложенный! Стиль Кина кажется современным. Очевидно, прекрасное всегда современно. Встречая у некоторых писателей длинные дряблые описания, Кин называл это «мистифицирующей манерой изложения».

Свойственная Кину спокойная прозаическая интонация выгодно оттеняет повседневный подвиг героев романа. Да, Матвеев и Безайс действуют мужественно и самоотверженно, в пору лихим многоопытным бойцам. Но ведь оба комсомольца эти все-таки еще немножко мальчишки. Как это тонко передано в эпизоде, где Матвеев дарит Безайсу нож:

«Нож был с костяной ручкой, в темных ножнах, замечательно крепкий. Он снял его с офицера под Николаевом и с тех пор носил с собой в кармане. Им он открывал консервы, чинил карандаши и подрезал ногти. Безайс даже покраснел от удовольствия».

А вот и другая, также тонко подмеченная черта юношеской психологии. Встретив некоего негодяя, «Матвеев с любопытством смотрел на него, удивляясь, что человек может быть такой скотиной».

Взрослый человек с основательным жизненным опытом реагирует несколько иначе на встречи с аморальными субъектами: негодование остается, но удивление с годами исчезает.

Уже из приведенных строк романа видно, что одна из силь-

нейших сторон прозы В. Кина — юмор. Действительно, он редко покидает автора. В юморе Кина, разумеется, нет ничего общего с неутолимым желанием непременно рассмешить читателя. Юмор Кина носит отпечаток его натуры. Есть столько видов юмора, сколько людей. В юморе Кина, умном, неожиданном, жизне-радостном и беспощадном, было какое-то великолепное мальчишество. В то же время это особый, веселый и острый, дар видения жизни.

Фраза у Кина веская, мускулистая. Весь стиль какой-то нервно-мужественный. В нем сила и легкость. А сколько вкуса! Приведу только один пример экспрессии выражений. Описывая действие мороза, автор замечает:

«Пальцы липли к стволу винтовки; воздух был сухой, крепкий и обжигал горло, как спирт; даже камням было холодно».

Роман Виктора Кина равно силен и в тексте от автора, и в диалоге. Фразеология Безайса и Матвеева по первому впечатлению может показаться совпадающей. Это так. И это неплохо. Ибо это язык среды, броский, выразительный, чуть подтрунивающий. Но по мере чтения внимательный читатель романа без труда обнаружит тонкие различия в языке героев, рожденные разностью темпераментов.

Пейзаж и человек существуют в этой книге слитно. Они как бы проникают друг в друга, а не отслаиваются, не ведут каждый обособленное существование, как в расплывшихся в последнее время холодноватых «охотничьих» рассказах.

Разумеется, строгий глаз найдет и в этой отличной книге недостатки, которые в худшем произведении, вероятно, были бы незаметны. Например, история неудачной любви Вари, не-кстати введенная в повествование. Или растянутое описание бреда Матвеева.

При всем том «По ту сторону» прочно входит в классику советской литературы. Комсомольские читатели первых изда-

ний этого романа сейчас пожилые люди. Но какой-то долей своего характера они обязаны этой небольшой книге. Она немало сделала для воспитания нескольких поколений советских людей. И то, что романа Виктора Кина не было в обороте нашей жизни десятки лет, равносильно тому, как если бы эти десятки лет не было в нашей стране изрядного количества школ.

Роман «По ту сторону» остался самым крупным и законченными произведениями Виктора Кина.

Роман «Лилль» был написан примерно на три четверти. Но рукопись была уничтожена в бериевских застенках. Случайно осталось несколько первоначальных разрозненных отрывков.

Но и по ним видно, что это был глубокий замысел обширного многопланового произведения с интересными прозрениями, с острыми портретными характеристиками подлинных исторических лиц. Не сомневаюсь, что этот роман вошел бы в большую литературу.

Одновременно Кин работал и над другим произведением — повестью о журналистах, где одним из героев был его излюбленный Безайс. Но и это пропало, за исключением нескольких отрывков.

Осталось несколько записных книжек Кина. Они свидетельствуют о снайперской наблюдательности писателя и о его кропотливой работе над словом.

Старые журналисты еще помнят фельетоны Кина в «Комсомольской правде». Недавно я перечитывал их. Мы знаем, как быстро выцветает этот жанр от времени. Но Кин работал над своими фельетонами с той же силой страсти и с той же стилистической тщательностью, что и над своей большой прозой. Фельетоны эти не только высокие образцы этого жанра, но и выразительная картина быта конца двадцатых и начала тридцатых годов.

Вот и все, что осталось от этого замечательного писателя,—

роман, отрывки рукописей, пожелтевшие страницы старых газет, несколько фотографий и построенные им превосходные модели романтических шхун и бригантин. Ибо у Кина было не только золотое перо, но и золотые руки. Он был удивительно и широко одаренным человеком. И если роман «По ту сторону» вошел в золотой фонд нашей литературы, то и о самом Викторе Кине можно сказать, что он был из золотого фонда советских людей.

У него было все, что нужно для выдающегося писателя,— острое дарование, ум, образованность, трудолюбие, сила характера, идейность, жизненный опыт.

Ему не хватило одного: жизни. И если бы не эта бессудная и бессовестная расправа над ним, его драгоценный талант дал бы народу еще много прекрасного и нужного.



МАРМАРНАЯ ДОСКА

Когда народ пошел оборонять родину, вместе с ним пошли его писатели. Иным из них пришлось при этом выдержать свои первые бои в военкоматах, где некоторые не в меру чуткие военкомы старались втолковать писателям, что они являются «культурной ценностью» и потому подлежат сохранению в тылу.

Помню, как шумно негодовал один немолодой писатель:

— В таком случае повесьте на меня табличку: «Памятник старины, охраняется государством!»

— Поймите,— уговаривал его слегка смущенный военком,— страна дорожит своими художниками. Вы, так сказать, совесть народа...

— Тем более! — бушевал писатель.— Совесть не может поступать бессовестно!

Даже такой тихий человек, типичный кабинетный работник, как Александр Роскин, с первых дней рвался на фронт,— так сильна была его ненависть к фашизму.

— А работа над биографией Чехова!

— Отложим до победы.

Александр Роскину не пришлось увидеть ее, он погиб в тяжком сорок первом году.

Мы, писатели, плохо знали друг друга до войны. Нам чаще бросались в глаза мелкие недостатки наших товарищей, чем бесценные человеческие сокровища, скрытые в них. Кто мог представить себе, что хрупкий Вадим Стрельченко, или несколько жеманный Иосиф Уткин, или шумный, рано потучневший Владимир Ставский, или веселый, хлопотливый Евгений Петров окажутся на фронте неустрашимыми воинами, отдавшими жизнь за спасение родины!

Семьдесят одно имя выбито золотом на мраморной доске, висящей в Центральном доме литераторов в Москве. Она навсегда останется в истории советской литературы, эта мраморная доска с золотыми именами. Здесь все поколения. Рядом с пожилым Ефримо Зозулей совсем юный Всеволод Багрицкий. Его убил один из тех воздушных фашистских бандитов, о которых Эдуард Багрицкий, словно предвидя судьбу сына, писал в обращенных к нему стихах:

...истребитель на бешеной заре
Отпечатан черным фашистским знаком...

[«Разговор с сыном»]

Наиболее часты на мраморной доске имена людей среднего возраста. Это то поколение, которое встретило Октябрьскую революцию подростками. Это ее воспитанники. Они начали рано жить. Пятнадцати лет Борис Лапин отправился на фронт гражданской войны. Аркадий Гайдар сделал это четырнадцати лет. А в семнадцать лет он уже был командиром полка. Они и погибли молодыми на фронтах мировой войны: Гайдар — тридцати семи лет, Лапин — тридцати шести, Крымов — тридцати трех.

Иные из писателей сражались в рядах Советской Армии, как бойцы и офицеры. Другие и посреди боев не расставались со своим профессиональным оружием — пером. Бывали случаи, когда сила военной необходимости заставляла менять перо на автомат, принимать на себя командование в бою, ходить в разведку, ложиться за пулемет.

Не было такой газеты — фронтовой, армейской, дивизионной, где не было бы писателя. Даже самая должность эта называлась: писатель. Поистине это была высокая должность. Писатели летали в штурмовиках на бомбежки, ходили в подлодках во вражеские воды, форсировали с бойцами реки, высаживались с десантами, партизанили в неприятельском тылу. И обо всем этом они писали, воспламеняя бойцов к победе.

Война была великим испытанием характеров. Как лаборант испытывает материалы на растяжение, на крепость, так война испытывала людей на стойкость, на честь.

Вадим Стрельченко, обращаясь к родине, восклицал:

...Но певец твой, я хлеба и крова
Добивался всегда не стихом,
И умру я в бою
Не от слова,
Материнским клянусь молоком...

Это было написано за много лет до войны, так же как и стихи Иосифа Уткина:

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим.

Читая до войны эти строки, мы воспринимали их как риторический оборот, не более того. Оказалось, что это програм-

ма жизни. Оказалось, что герои этих стихов — их авторы. Стрельченко, Уткин, Алтаузен умерли так, как предсказали себе: в бою.

Давно восстановлены разрушенные города, затянулись раны, ожили замершие домны. Но не оживить Александра Афиногенова, Сергея Диковского, Михаила Розенфельда. Эти бреши невозполнимы. Придут и уже пришли другие писатели, быть может иногда и более талантливые. Но — другие. А второго Аркадия Гайдара не будет, ибо он неповторим.

Мы знаем: писатель умирает, но литература остается. Преступная пуля светского бандита прервала жизнь гениального русского поэта. Но не русской поэзии. Развитие ее не прервалось. В народе было столько силы, что даже с гибелью Пушкина русская литература не рухнула с мирового пьедестала. То, что у нее было отнято гибелью Пушкина, возместилось ей Гоголем, Толстым, Достоевским, Чеховым.

И все же к мраморной доске, висящей в Центральном доме литераторов, невозможно привыкнуть. Много лет висит она здесь, но и сегодня нельзя без волнения пройти мимо нее. Перечитывая эти золотые имена, имена друзей и товарищей, утешаешь себя:

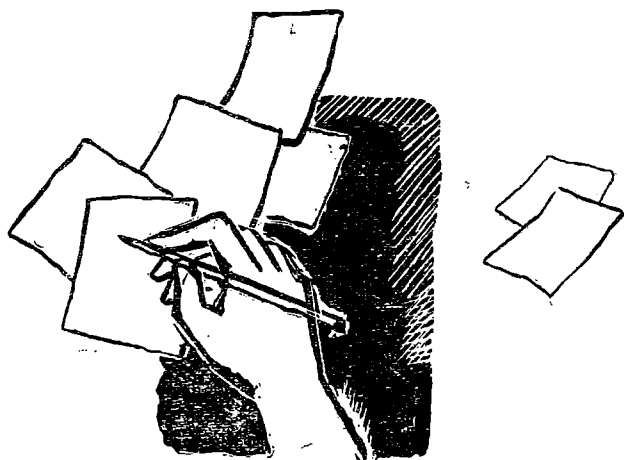
«А все же они не совсем умерли...»

Остались книги. А слова писателя — это его дела.

И вспоминается плакат, написанный одним писателем и висевший в дни блокады на улицах Ленинграда:

«Пока видят глаза, пока рука сжимает оружие, пока бьется сердце, не бывать фашистам в Ленинграде».

Там, в осажденном городе, это не было словами.



ЗАПИСКИ





ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФАШИСТСКОЙ ИМПЕРИИ

I. БЕРЛИН ИЗНУТРИ

1

Смерть фашистской империи лишена величия. Искусство трагика не прикоснется к этому сюжету. В нем нет ничего возвышенного. Это не трагедия, это кровавая истерика. Гитлеровская Германия умерла, как и жила, во лжи, в крови и в грязи.

Судьба благоприятствовала мне. Проведя четыре года на войне, я увидел конец ее в Берлине. Личные наблюдения, допросы и другие материалы позволили составить некоторое представление о предсмертных минутах фашистского режима. Я расскажу здесь о восьми последних днях гитлеровского Берлина.

Что же происходило внутри германской столицы, когда бои шли на ее подступах?

Берлин был разделен на девять секторов обороны. Восемь из них обозначались буквами алфавита: «А», «В», «С» и т. д. Девятый, расположенный в центре Берлина, назывался «Цитадель». Гитлеровцы считали его неприступным. Это был мозг фашистского Берлина: район правительственных зданий и парк Тиргартен.

Каждый сектор защищал гарнизон численностью до 24 тысяч человек. Начальники участков назначались лично Гитлером из числа офицеров, которым он особенно доверял. Так, участком «А» командовал некий Фенгер, любимец Гитлера, произведенный им из солдат в подполковники,— боевые заслуги при этом роли не играли. Но так как оказалось, что для защиты Берлина недостаточно одних изъявлений преданности, а нужен еще и боевой опыт, то в самые последние дни начальником обороны Берлина был назначен человек, далекий от гитлеровского окружения,— генерал артиллерии Вейдлинг.

Правда, боевой опыт генерала на Восточном фронте был несколько односторонним, хотя, вообще говоря, Гельмут Вейдлинг был старым боевым офицером. Во время первой мировой войны он командовал дирижаблем «Цеппелин». В войне 1939 года с Польшей он был командиром артиллерийского полка. Во французской кампании 1940 года — начальником артиллерии армейского корпуса. Участник боев на Балканах.

Что же касается Восточного фронта, то здесь в 1941—1942 годах он отступал от Москвы. В 1943 году, командуя дивизией, отступал от Курской дуги. В 1944 году, командуя 9-й армией, бежал от Бобруйска, бросив свои разгромленные войска в котле. В 1945 году, сниженный в должности до командира корпуса, отступал из Восточной Пруссии. Позже, в апреле, со своим танко-

вым корпусом отступал от Одера, откуда, собственно, и началась великая битва за Берлин. И, наконец, Вейдлинг — последний защитник столицы.

По своей новой должности генерал Вейдлинг ежедневно бывал с докладом у Гитлера и его министров. Для этого он каждый вечер спускался в комфортабельное многоэтажное убежище под Новой имперской канцелярией, откуда фашистские заправилы пытались руководить уже фактически не существовавшей империей. Каков контраст! Еще недавно им принадлежала Европа. Теперь в их распоряжении было несколько подвалов, окруженных пылающими развалинами Берлина. Из слов Вейдлинга можно было понять, что и в этой подземной мышеловке Гитлером продолжала владеть мания величия и болтливость. Он не переставал издавать приказы, которые уже некому было исполнять. Он царствовал в безвоздушном пространстве.

Вейдлинг — высокий смуглый старик лет под шестьдесят, опущенный седовато-русскими волосами. Манеры его отличаются той напряженностью, которая свойственна многим немецким военным. Даже доходя до самых драматических моментов этой истории, Вейдлинг мало оживляется и продолжает повествовать в духе все той же монотонной торжественности.

Впрочем, он проявил несколько больше здравого смысла, чем другие, сообразив 2 мая, что самое благоразумное в его положении — сдать в плен.

Мне было тем более интересно знакомиться с показаниями генерала Вейдлинга, что 2 мая я был на месте происшествия — в Новой имперской канцелярии, только что захваченной нашими частями. Даже сквозь свежие следы боев были явственно различимы признаки величайшей растерянности, владевшей защитниками этого центрального правительственного учреждения Германии. Неожиданное применение получила личная библиотека Гитлера. Ее книгами были забаррикадированы широкие окна Импер-

ской канцелярии. На книгах — экслибрисы Гитлера и надписи от авторов «фюреру». Всюду валялись растерзанные гранатами экземпляры «Майн кампф». Судя по их количеству, любимым автором Гитлера был Гитлер.

В саду при канцелярии, изрядно побитом снарядами, но где все же местами цвела сирень, валялись трупы самоубийц — штабных работников, эсэсовцев и гестаповцев. Его так и называли: «Сад самоубийц».

Карьера пришла к генералу Вейдлингу слишком поздно. Он был назначен командующим обороной Берлина 24 апреля, то есть за восемь дней до падения Берлина. Он принял это назначение, по его словам, неохотно. Не только потому, что хорошо знал переменчивый нрав самовлюбленного тирана, не только потому, что назначение это произошло, так сказать, в порядке панических поисков «верных людей», а главным образом потому, что, как старый опытный солдат, Вейдлинг понимал, что положение Берлина безнадежно.

Однако он не посмел уклониться. Он знал, что Гитлер скор на расправу. Он хорошо помнил, как год назад Гитлер приказал расстрелять его за катастрофу 9-й армии под Бобруйском. Расстреливали и за меньшее, особенно в последнее время. Иногда просто за расхождение с Гитлером в вопросах военной тактики. Другие пленные генералы рассказывали:

— Пока германская армия побеждала, Гитлер приписывал эти победы себе. Когда германская армия начала терпеть поражения, Гитлер приписывал эти поражения генералам. Между тем что мы могли? Гитлер, забрав в свои руки высшую военную власть, парализовал действия армии. Руководителем ОКВ (верховного командования) считался генерал-фельдмаршал Кейтель. Офицеры насмешливо прозвали его — Лакейтель... Еще у него было ироническое прозвище — начальник имперской бензоколонки. Ибо власть его фактически распространялась только на

запасы бензина... А на фронте дело дошло до того, что командующий армией не мог передвинуть даже батальона с одного участка на другой без личного разрешения Гитлера...

К этому необходимо добавить, что после разгрома фашистов под Сталинградом так называемая пропаганда шепотом (то есть слухи, намеренно пущенные в немецком народе нацистскими властями) утверждала, что стратегия Гитлера была, дескать, правильной, но генералы якобы извращали ее. В свою очередь генералы валили ответственность за свои поражения на Гитлера. Это тот случай, когда обе стороны правы.

Попав в плен, германские генералы охотно подчеркивали свою якобы «оппозиционность» по отношению к Гитлеру. На самом деле они служили ему верой и правдой. В том числе и Вейдлинг, который, несомненно, был предан фашистскому режиму не за страх, а за совесть.

Действительно, вскоре Гитлер отменил свой приказ о расстреле генерала Вейдлинга. Тем не менее слово «расстрел» незаметно для самого генерала то и дело упоминается в его показаниях. Видимо, призрак расстрела беспрерывно витал над окружением Гитлера. Палачи всегда под руками: эсэсовцы из отряда личной охраны Гитлера.

2

Мне удалось повидать этих головорезов все в тот же памятный день 2 мая. Я искал вход в пресловутое подземелье, где всю войну укрывалась гитлеровская верхушка. Мне было известно, что туда можно было проникнуть из Новой имперской канцелярии по лестнице и по лифту. Однако, когда я приблизился к этому ходу, я уже не нашел его: накануне он был разворочен нашими снарядами. Берлинцы указали мне другой ход — непосредственно с улицы.

В добровольных гидах тогда недостатка не было. Сразу же

после капитуляции Берлина, как только утихла стрельба, жители высыпали на улицы во множестве. В Берлине к моменту капитуляции оставалось, по-видимому, не менее двух миллионов человек. С метлами и лопатами в руках берлинцы принялись убирать с улиц щебень и кирпич. Таскали воду из колонок, искусно лавируя между падавшими отовсюду горящими головешками. Усердно растаскивали товары из полуразрушенных магазинов. И все это многие из них делали с таким будничным, деловитым видом, точно ничего особенного не случилось, точно не произошло только что на глазах их величайшее историческое событие: пала их столица, рухнуло их государство. Что это: бесчувственность? усталость! безразличие! жажда покоя!..

Следуя указаниям берлинцев, я пошел по Вильгельмштрассе и, обогнув слева здание Новой имперской канцелярии, оказался перед входом в знаменитое подземное убежище. Вход прикрывался огромной бронированной плитой. Сейчас она была в приподнятом положении, позволяя пройти вниз. Обычно во время бомбежек особый механизм опускал эту плиту.

По крутой лестнице я сошел в убежище. Открылся длинный коридор, облицованный кафелями. Он был залит ярким светом, из крапов в стенах текла вода. Странно было видеть электричество и воду в разрушенном Берлине. В этом огромном убежище — своя электростанция, водопровод, радиоузел. Все осталось в исправности.

Во всю длину коридора, оставляя лишь узкий проход посередине, лежали на нарах, на койках, а то и просто на полу раненые эсэсовцы, личные телохранители Гитлера. Исподлобья смотрели они на проходящих мимо них советских офицеров. Многодневная небритость усиливала в их лицах выражение жестокости. Более обширной коллекции отталкивающих физиономий мне не приходилось видеть. Здесь был госпиталь для этих охран-

ников Гитлера, раненных во время боя за Новую имперскую канцелярию. Некоторые из них стонали от боли в ранах. Признаюсь, их не было жалко. По коридору сновали пленные немецкие врачи и сестры с перевязочными материалами и медикаментами. Многие эсэсовцы убежали в нижние этажи убежища, и наши бойцы проникали в глубины подземелья и выковыривали их оттуда. Эсэсовцев боялись немецкие генералы, но не русские бойцы.

Здесь уже стоял наш пост. Командовал им капитан из комендантского управления. Он пригласил меня в свой кабинет, который еще сегодня утром был одним из кабинетов Геббельса.

— Хотите вина? — спросил капитан.

При этом он взглянул на меня так значительно, что я сказал:

— Какое-нибудь особенное вино?

— Особенное в нем то, что его будет подавать виночерпий Гитлера. Ведь вся его челядь осталась здесь.

Действительно, через несколько минут худой старик в неопрятном смокинге разливал нам скверный немецкий вермут. На лице его застыла маска профессионального лакейского подбострастя.

Я сказал капитану, что хочу пройти по госпиталю и поговорить с эсэсовцами.

— Не советую. Вы видели — их тут несколько сот. А у меня, — капитан нагнулся ко мне и конфиденциально прошептал, — шесть бойцов. Пырнет вас какая-нибудь сволочь — я даже не узнаю.

Все же я пошел. Никто меня не «пырлял». Смотрели злобно, но разговаривали, и я узнал от них некоторые подробности о быте подземной резиденции Гитлера, которые я использовал в этом рассказе.

Возвращаюсь к прерванному повествованию.

Генерал Вейдлинг в день своего назначения, то есть 24 апреля, в 17 часов 00 минут явился к Гитлеру. Квартира Гитлера помещалась в том же подzemелье и была прикрыта сверху массивной железобетонной плитой. До этого Вейдлинг видел Гитлера год назад. И вот Гитлер снова перед ним. Да, это все тот же узкоплечий, широкозадый и низколобый человек с подбородком грузным, как висячий замок, с вечно гримасничающим лицом. Он, он... И все же...

— Увидев фюрера сейчас,— говорит Вейдлинг,— я был поражен его видом. Меня потрясли перемены, происшедшие в нем. Передо мной была руина человека. Голова его тряслась, руки дрожали, голос был невнятным. С этого дня ежедневно вечером я являлся к нему с докладом о положении и обстановке на берлинском фронте. И с каждым днем вид Гитлера становился все хуже...

Как известно, Берлин капитулировал 2 мая. Но еще 1 мая наши части проникли глубоко в город.

Я видел в тот день, как наши автоматчики с ходу взяли один из берлинских призывных пунктов со всем его содержимым — призывниками-фольксштурмистами. Двор был полон ими. Кругом шел бой, когда они, чинно регистрируясь, получали винтовки и фауст-гранаты, на которые они смотрели с некоторым опасением. Один из них сидел на корточках перед большим мусорным ящиком и неумело малевал на нем геббельсовский лозунг: «Berlin bleibt deutsch!»¹ Самому старому из этих ополченцев было шестьдесят четыре года, самому молодому — сорок два. Прочие иронически называли его «юношей». Геббельс сформировал двести батальонов фольксштурма. Вооруженные де-

¹ Берлин останется немецким! (нем.).

сятью — пятнадцатью пулеметами и фауст-гранатами, они располагались за баррикадами, составленными из трамвайных вагонов, наполненных кирпичами, либо попросту из срубов, набитых песком, поверх которых стояли повозки с землей. Нередко эти баррикады были обложены стальными плитами. Надежды Геббельса не оправдались. При первом серьезном нажиме фольксштурмисты разбежались. Другое дело регулярные части: те дрались жестоко. Но они были обескровлены еще в боях на подступах к Берлину.

Там же, на дворе, я поднял берлинскую газету «Моргенпост» от того же 24 апреля. К этому времени она дошла до состояния маленького листка на двух страничках. Здесь я прочел паническое воззвание Гитлера с обильным упоминанием любимого его слова «расстрел».

«Каждый, кто пропагандирует мероприятия, ослабляющие силу сопротивления, или даже просто с ними соглашается, является предателем. Он тотчас расстреливается на месте или посылается на виселицу. Так же нужно поступать и с теми, кто утверждает, что подобные мероприятия якобы исходят от лица гаулейтера Берлина имперского министра доктора Геббельса или даже от лица фюрера... Адольф Гитлер».

Берлинские жители, с которыми я разговаривал, утверждали, что это воззвание — одно из последних воззваний Гитлера — внесло окончательную сумятицу в умы берлинцев. Никто не знал, какому приказу властей отныне полагается верить, какому — нет. Воцарилась атмосфера всеобщего взаимного недоверия и подозрительности. Поползли слухи о том, что Гитлер — это вовсе и не Гитлер, а его двойник. Страх и паника господствовали в осажденном Берлине.

В том же номере «Моргенпост» Геббельс писал:

«Я могу констатировать, что в Берлине господствует решительный боевой дух и нет ни малейшего следа настроений в

пользу капитуляции. Белые флаги не будут вывешены в столице!»

В это время многие берлинцы тайком кроили белые флаги из простынь и нижнего белья. В большом спросе были полотенца.

Вопреки оптимизму этих казенных реляций, гитлеровская верхушка пребывала в мрачном и тоскливом беспокойстве. Сам Гитлер, по словам людей, наблюдавших его в эти последние дни, проявляя истерическую переменчивость в настроениях. От безнадежности он переходил к фантастическим упованиям на победу, с тем чтобы через минуту снова впасть в минорный тон.

В один из таких пессимистических дней, 22 апреля, он заявил в своем обычном декламационном стиле, от которого он не в силах был отказаться даже в эти предсмертные дни, что наступает гибель империи и что он сам решил пасть на пороге Имперской канцелярии. При этом присутствовали генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Альфред Иодль и рейхслейтер Мартин Борман, приближенное к Гитлеру лицо, начальник его личной охраны и непосредственный руководитель нацистской партии. В народе его называли «серое преосвященство». Это — коренастый брюнет с бычьей шеей, с грубым и хитрым лицом.

Кроме того, там была скромная личность — стенографист Гергарт Гезелль, молодой невзрачный человек. Он-то впоследствии и рассказал об этом разговоре.

В ответ на декларацию Гитлера генерал Кейтель деликатно намекнул, что ведь это, собственно, противоречит планам самого Гитлера, которые он только вчера принял, и оглянулся на мало-разговорчивого Иодля, ожидая от него поддержки. Тот неохотно промямлил, что, дескать, да, 12-я армия генерала Венка и некоторые другие части, вероятно, еще могут изменить положение под Берлином.

Но Гитлер, пристрастившись к избранной им на сегодняшний день жертвенной позе, повторил в еще более пышных выражениях, что он умрет в погибающем Берлине — и это будет высшая служба во имя чести германской нации. При этом он выразительно посмотрел на окружающих.

Иодль коротко сказал:

— Мое дело руководить, а не быть убитым среди руин.

Вышел и прямым ходом направился в квартал Гатов, где на посадочной площадке стоял четырехмоторный «кондор», готовый к отлету.

Гитлер посмотрел ему вслед, неприятно пораженный. И это Иодль! Тот самый Альфред Иодль, который обязан ему всем, которого он из майоров вытянул в генерал-полковники в награду за знаменитый донос Иодля в 1938 году на фрондировавших тогда генералов Рундштедта, Браухича, Лееба, Бока, Листа, Клейста и других, устроивших секретное совещание, куда незаметно для них прокрался и подслушал их Иодль.

— Улетайте все,— сказал Гитлер после неловкой паузы.

Лакейтель слащаво вскрикнул, подлаживаясь под возвышенный стиль разговора:

— Мой фюрер! Если мы вас покинем, мы никогда не сможем смотреть в глаза собственным женам и детям.

— Уезжайте! — повторил Гитлер.— Уезжайте скорее! Русские могут прийти сюда через неделю. Через два дня! Через десять минут! Уезжайте в Южную Германию! Создайте там правительство! Своим заместителем я назначаю Геринга!

Это не помешало Гитлеру, со свойственной ему переменчивостью, через некоторое время, как это будет видно из дальнейшего рассказа, отдать приказ об аресте Геринга.

Кейтель не заставил больше просить себя. Он вышел из убежища и, видимо решив, что с женой и детьми он как-нибудь поладит, помчался на аэродром, нещадно понукая шофера.

А вскоре выскользнул и тихий стенографист Гезелль. Зажимая под мышкой папки и бумаги, он бросился по Герман-Герингштрассе туда же, в Гатов. Когда свистели, пролетая, русские снаряды, он ложился на тротуар и пережидал. Потом опять бежал по пустынным улицам что было силы. Он знал, что больше самолетов из Гатова не будет. Задыхаясь, он прибежал на аэродром в последний момент и вскарабкался на самолет. Гигантский «кондор», набитый приближенными Гитлера, поднялся над Берлином, скользнул над русскими позициями и вскоре благополучно снизился в Берхтесгадене. Здесь все пассажиры были арестованы американцами.

4

А 25 апреля Гитлер снова метнулся в безудержный оптимизм. В этот день генерал Вейдлинг явился к нему с очередным докладом.

Доклад был достаточно мрачен. Гитлер слушал молча, устремив глаза в железобетонный потолок, который действовал на него успокоительно.

Каково же было потрясение Вейдлинга, когда Гитлер принялся возражать ему! Гитлер не мог не знать, что еще вчера, 24 апреля, войска маршала Жукова овладели к западу от Берлина радиоузлом Науэн со всем его оборудованием и персоналом, врезались в самый Берлин, заняли в северной его части квартал Панков, в западной — квартал Тегель, в восточной — Силезский вокзал, а сегодня, 25 апреля, перерезали все пути из Берлина на запад, соединились северо-западнее Потсдама с частями 1-го Украинского фронта и таким образом завершили полное окружение Берлина.

Шла великая битва на всей площади Берлина, заставленной каменными джунглями. Наступление не замедлялось ни на один

час. Эшелоны наступали непрерывно и посменно: первый — днем, второй — ночью. Противник не имел возможности закрепиться на рубежах.

За кажущимся хаосом уличных боев стояла стройная система наступления, тщательно продуманная и неуклонно воплощаемая нашим командованием. Войска генерала Берзарина вышли к площади Александерплац, танки генерала Богданова провались северо-западнее Тиргартена, дивизии генерала Чуйкова и танки генерала Катукова форсировали Ландвер-канал, войска генерала Кузнецова достигли укрепленного района рейхстага с севера. Армия генерала Перхоровича обошла Берлин с юго-запада и соединилась с частями маршала Конева. Берлин был замкнут в кольцо.

А там, на западе, фельдмаршал Монтгомери и генерал Бредли со стремительностью, которой им так недоставало раньше, пустились взапуски к Берлину. Это походило на скачки без препятствий. Был в Берлине человек, который ждал их с истерическим нетерпением,— Гитлер. Бой постепенно сгущался к центру. Здесь образовался как бы остров — Александерплац, Тиргартен, рейхстаг,— бешено защищаемый гитлеровцами. На перекрестках были вкопаны немецкие танки — как доты. Из подворотен выглядывали немецкие зенитки с необычно низким наклоном стволов, предназначенным для наземного боя. Наши железнодорожники, проникшие к Силезскому вокзалу, перешли его пути. Тут же по этой колее подкатили крепостные орудия. Эти машины открыли огонь по центру. Каждый снаряд весил полтонны. Советские воины дрались с упоением, чувствуя, что заколачивают последние гвозди в гроб гитлеровского фашизма.

Гитлер знал обстановку, но его ограниченный, самовлюбленный умишко не мог оценить и истолковать ее. Самонадеянное германское командование издавна страдало раздутым самомнением. За двадцать семь лет до того, в 1918 году, старый опыт-

ный генерал Людендорф накануне краха Германии в первой мировой войне заявил, что военное положение не дает оснований для пессимизма и что невозможно сомневаться, что Германия выйдет из войны победительницей. Старое прусское чванство делало германскую армию недалековидной.

В ответ на неопровержимые доводы генерала Вейдлинга о безнадежности положения Гитлер принялся отрывочно выкрикивать, беспорядочно тыкая дрожащим пальцем в карту:

— Скоро положение улучшится. Девятая армия подойдет к Берлину. Она ударит по русским. Я приказал. Подойдет также Двенадцатая ударная армия генерала Венка с запада. Она ударит по южному флангу русских. Таков мой приказ. Не все. С севера подойдут войска генерала Штейнера — удар по северному крылу русских. Вы увидите, генерал, все изменится в нашу пользу...

— Я слушал Гитлера с ужасом,— вспоминает Вейдлинг,— для меня была ясна несбыточность его планов. Девятая армия была окружена и вела тяжкие бои. Армия генерала бронетанковых войск Венка была обескровлена. Я также не верил в наличие войск у Штейнера...

Генерал Вейдлинг выразился излишне сдержанно. От армии Штейнера к этому времени остался только штаб, располагавшийся к северу от Берлина, ибо еще в марте армия эта была наголову разбита войсками 1-го Белорусского фронта. Что касается 12-й ударной армии, то она фактически состояла из трех дивизий, укомплектованных семнадцатилетними курсантами, и именно в этот день упала на Эльбе в гостеприимно подставленные американские объятия. А 9-я армия в это время была окружена и доколачивалась нашими войсками. Вся берлинская оборона, с таким каллиграфическим усердием расписанная гитлеровскими генштабистами, разлеталась в прах. Гитлер призывал призраки.

И долго еще в эфире сновали его истерические вопли, уловленные нашими радистами: «Где Двенадцатая армия!», «Где Штейнер!», «Почему Штейнер не наступает!», «Где штаб Штейнера!», «Когда Двенадцатая начнет наступать!»

Фашистские бандиты были верны себе. Все вокруг переменилось, они одни сохраняли стиль своего существования: продолжали лгать друг другу, себе, народу, продолжали грызться из-за власти.

Прибыла по радио телеграмма Геринга. Это было 26 апреля, то есть за несколько дней до капитуляции. Об этой телеграмме Вейдлингу рассказал вновь назначенный начальник генштаба генерал Кребс, единственный, с кем Вейдлинг в этой атмосфере всеобщей взаимной ненависти сохранял приличные отношения. В телеграмме Геринг напоминал Гитлеру содержание одной из его речей в рейхстаге. Гитлер в этой речи заявлял, что в тот момент, когда он не в состоянии будет более руководить государством, он отдаст власть и руководство Гессу, а в отсутствие Гесса — Герингу. И вот Геринг в своей телеграмме указывал, что ныне Гитлер оторван от страны и что, следовательно, он должен передать руководство ему, рейхсмаршалу Герману Герингу.

Гитлер категорически отклонил требование Геринга и угрожал ему при этом какими-то чрезвычайными мерами. Специальным приказом он передал власть в Южной Германии генерал-фельдмаршалу Кессельрингу, в северной — гроссадмиралу Деницу. По словам генерала Кребса, в ответной телеграмме Гитлера Герингу присутствовало его любимое слово — расстрел.

Геринг был арестован, как рассказывает стенографист Гезелль, эсэсовцами в Берхтесгадене. «За что, за что! — фальшиво закричал имперский маршал, разряженный с попугайной пестротой в светло-голубой замшевый мундир, красные сапоги с золочеными шпорами и фантастический головной убор. — Не я ли двадцать три года боролся за фюрера...» Толстяка потащили в тюрь-

му в Куфштейне... Поистине поразительное зрелище представляла собой эта свалка фашистских псов над костью, которой уже не было!

Между тем продолжалось завоевание Берлина. Пал парк Трептов, кварталы Нейкельн, Моабит. С юга Чуйков взял Темпельгоф, воздушную гавань Берлина.

5

Обращаясь к своим записям, сделанным в эти дни, 25 и 26 и 27 апреля, я нахожу следующие строки:

«Проезжаем восточные пригороды Берлина — Бисдорф, Мальсдорф, Адлерсгоф, Карлхорст, Келеник и другие. В дни боев мы так изъездили их, что сейчас знаем берлинские пригороды не хуже подмосковных. Красивые места: озера, сады. Все в цвету. Запах сирени и пороха. Под немыслимо пахнущей акацией стоит орудие и бьет по центру города. В брошенных немецких окопах смердят трупы. Весна и смерть. Гитлеровская империя разлагается среди благоухания цветов. Пропать народу на улицах. Берлинцы спасаются от бомбежек в пригородах. Дома здесь нетронуты. Ближе к городу — ужасающие лачуги, рабочие «дачи», сбитые из старой жести и фанеры. Крохотные огородики, где прорастает чахлая капуста...»

«Дети клячат: «Брот!» Первые русские слова, которым они научились: «Кусотшек хлеба!» Между тем наши коменданты раздают немцам хлеб по их старым продовольственным карточкам. Они просят еще — это жадность изголодавшихся. Кстати, тут же было замечено, что у многих немцев непомерно большое количество карточек, и выяснился любопытный факт. Оказывается, американцы бомбили Берлин не только фугасками, но и продовольственными карточками. Они были неотличимы от подлинных берлинских. Гитлеровские власти призывали население уничто-

жать эти карточки. Но в конфликте между германским патриотизмом и германским желудком обычно побеждал последний. Посредством этих карточек американцы руками самих немцев подрывали продовольственное снабжение Берлина, и без того скудное. Борясь с этим, берлинские власти меняли цвет и формат карточек. К чести американской разведки — уже через несколько часов летчики сбрасывали в Берлин карточки вновь введенного образца...»

«Берлиницы пристают с расспросами, набиваются услужить, льнут. Целый день трут улицы метлами, очевидно, чтобы продемонстрировать свое трудолюбие. Некоторые заявляют: «Я не немецкий подданный. У меня аргентинский паспорт», наивно полагая, что мы не осведомлены об аргентинских связях фашистов...»

«Из-под сброшенного трамвайного вагона, на боку которого красуется герб Берлина — медведь на задних лапах, извлекают диверсанта-эсэсовца с фауст-патроном в руках. Он упрямо бормочет: «Начальство нам обещало, что Берлин будет сдан только американцам...»

«Заезжаем в штаб сражающейся пехотной части. Он сейчас похож на справочное бюро Берлина — столько здесь планов города, схем его водопроводной сети, канализации, электросети, городского транспорта...»

«На Франкфуртер-аллее батарея «катюш» бьет по рейхстагу своими длинными молниями...»

«Объезжаю Берлин с севера. Сворачиваю на запад: сегодня части генерал-полковника Кузнецова берут Берлин с запада. Автострада. Она охватывает Берлин почти вкруговую. Впервые я увидел ее 21 апреля. Тогда на ней было не протолкнуться: шло наступление на окраины Берлина. Сейчас все — артиллерия, танки — стремится поперек автострады, кратчайшим путем, к центру. Умопомрачительная гладкость асфальта. Две половины, каждая

шириной в девять метров, посредине двухметровая посадка. Могут двигаться в обоих направлениях одновременно шесть потоков. Бледное солнце. Цветут яблони. Слева горит Берлин...»

«Дождь, как почти все эти дни, веселая, быстрая гроза. В лесу, возле реки Хавель, попадаем под бомбежку (вероятно, это последняя моя бомбежка во время войны). Немцы метят в переправу. Бомбят поспешно, все мимо. Не обращая внимания на бомбы, через реку густо движутся войска...»

«Теперь едем на восток сквозь леса Берлинервальд, Грюнвальд, чинные немецкие леса, с кюветиками для стока воды по бокам тропинок и урнами для окурков. Недостает только жестяных инвентарных номерков на деревьях. Множество брошенных легковых автомашин («адлеры», «мерседесы», «копели», «вандереры»). К задкам щегольских автомобилей приделаны безобразные «самовары» газогенераторов — бензиновый голод. Благопристойность немецкой природы нарушают баррикады из цементных и стальных плит, аккуратно сложенные между деревьями, по большей части безлюдные. В лесу немцы сражаются вяло. Они быстро отступают на восток, в кварталы Шарлоттенбурга, подкрытие домов...»

«На лесной поляне, залитой кровью и гороховым супом, вытащили из кустов эсэсовца. Обвисшие щеки бывшего толстяка, слезящиеся от бессонницы глаза. Он нахально передергивает плечами и говорит:

— Ну так что, что вы под Берлином! Мы тоже были под Москвой.

Из его припухших глаз глядит на мир старое прусское чванство.

Мой спутник, капитан Савельев, кидает на эсэсовца взгляд, от которого тому становится не по себе, и спрашивает:

— На что же вы, собственно, еще надеетесь!

— О! Наше командование заявило, что приложит все силы,

чтобы воспрепятствовать русским захватить Берлин. Из двух зол мы выберем меньше: сдадим Берлин американцам...

«Мы выберем!»! Как будто гитлеровцы еще вольны выбирать!..»

«Генерал-полковник Кузнецов сказал:

— В метро жаркие стычки. Немцы освещают подземные туннели прожекторами и простреливают их пулеметами. Мы отказались от мысли взорвать метро, чтобы Берлин не провалился...»

«Едем все дальше на восток сквозь прирученные немецкие леса, где стоят автоматы для продажи открыток, сквозь чащи, доеденные до состояния дач. Между деревьями мелькают маленькие коттеджи, похожие на радиоприемники. На крылечках сидят немки в брюках с детьми на руках, кой-где и мужчины, посасывая пустые трубки, глаза на нескончаемый конвейер нашей боевой техники. Когда проезжают гвардейские минометы, они толкают друг друга в бок и бормочут с боязливым удивлением:

— Катюш!..»

«Колонна освобожденных из Каульсдорфского лагеря. Глубокий старик в скуфейке, священник Хижняков. Рядом жена. Ему 76 лет, ей 64. Зачем их угнали с родины? Он не знает. Здесь они работали по разборке руин за двести граммов хлеба в день. Как умудрились выжить?

— Крали карточки,— говорит он,— красть у врага — не грех. А две недели тому назад итальянцы попались на крупе, уж очень грубо крали крупяные карточки. Из-за них-то, из-за итальянцев, всем стало худо. Голод. Господь бог помог — прислал Красную Армию...»

«Супружеская пара: голландец и галичанка. Поженились в немецкой неволе. Он — юный и медлительный рыжий колосс. Она — маленькая, черная, живая, грациозная. Говорят на чудовищной смеси голландского и украинского. Видимо, очень любят друг друга. Счастливы, что вырвались из фашистского рабства, но пол-

ны беспокойства: неужели им расставаться! Она готова ехать с ним в Гаагу, он с ней — в Коломью...»

«Два немецких коммуниста. Освобождены нашими. Сидели семь лет. Высокие широкоплечие ребята рабочего типа. В двухцветных темно-зеленых куртках, в клоунских штанах с яркими лампасами — одежда немецких каторжников. Шагают в Берлин. За плечами котомки с картошкой, накрытой в брошенных огородах. Лица изможденные и счастливые. Настроены решительно. Долго приветственно машут...»

6

«Бельгиец Жозеф Бюик. Инженер. Высокий, гибкий, нервный. Вручную везут тележку всей компанией — девушки, старухи, еще инженеры. Разговор с ними о фашистах на обочинах берлинской автострады, в тени прохладных сосен. Наблюдая услужливость цивильных немцев, Бюик говорит с яростной убежденностью:

— Немец не знает середины. Он или подхалимничает с отталкивающей угодливостью, или стреляет в спину.

— Можно ли так отзываться о целом большом народе! Не значит ли это — самому усвоить расистскую точку зрения? У немцев есть и хорошие черты, — устало замечает пожилой человек в берете, — например: упорство, методичность, трудолюбие, организационные способности...

— О! — прерывает его бельгиец и неожиданно смеется. — Добродетели, которые вы перечислили, мосье, чисто технические, служебные. Они могут быть равно обращены и на добро и на зло. Фашисты обратили их на зло: упорство в грабежах, методичность в пытках, трудолюбие в убийствах, блестящая организация лагерной смерти... Я-то знаю нацистов. Пригляделся к ним за эти три проклятых года. Они легкомысленны, коварны, истерически-капризны и крайне развращены Гитлером. Может быть, есть и другие. Не знаю.

— Мне кажется,— сказал пожилой не очень уверенно, — что все-таки должны быть.

— Я их не видел, мосье,— сухо ответил бельгиец.— Германия полна развалин — и не только физических, главным образом моральных...»

Разговор этот я вспомнил через несколько дней, уже после капитуляции Берлина, наблюдая одну сцену в центре города. Забегая несколько вперед, расскажу о ней.

Второе мая. Александерплац. Только что Берлин сдался. Первые минуты после капитуляции. Немецкие солдаты складывают оружие. Власти уже нет и еще нет. На площади стоит огромный универсальный магазин Титца. Он разрушен, но его погреба, склады целы. Толпа цивильных немцев и немок вполне бюргерской наружности бросается грабить склады Титца. Я смотрю на это зрелище с интересом, не лишенным злорадства. Капитан Савельев очень доволен. Он собирает такие случаи. Но о его обширной и интересной коллекции невещественных реликвий я расскажу потом.

Приближается наш комендантский патруль. Им командует старший лейтенант, немолодой, подтянутый, успевший побриться и наярить сапоги, как это и полагается в столице, хотя бы покоренной.

Патруль разгоняет грабителей. Они расходятся: одни — с тем льстиво-услужливым видом, который так характерен для побежденных гитлеровцев, другие — корча недовольные гримасы. Один старик весьма буржуазного вида просто рассержен. Гнев придал ему решимость. Он подходит к старшему лейтенанту, чтобы объясниться. Старший лейтенант говорит по-немецки. Между ними происходит следующий разговор, воспроизводимый стенографически:

Ст а р и к [тоном благородного негодования]. Почему вы препятствуете нам разбирать склады Титца!

Ст. лейтенант. Вы называете это — разбирать! Это грабеж. Грабеж воспрещен.

Старик. Но ведь это между немцами.

Ст. лейтенант (со сдержанной яростью, но корректно). Грабеж воспрещен. В свое время вы грабили нас. Мы вас выгнали.

Старик (лояльно соглашаясь). Это правильно. Но сейчас мы грабим своих.

Ст. лейтенант. Просто потому, что больше некого грабить. (Начальнически.) Все равно нельзя. (Раздельно, как ребенку или идиоту.) Это непорядок. Грабить нельзя. Вам придется с этим примириться.

Немец обиженно пожал плечами и отошел, что-то пробормотав. Что именно — не слышно было. Но весь вид его говорил: «Ну и времена настают!...»

Тогда-то я вспомнил слова бельгийца о том, что Германия полна моральных развалин, и подумал, что реставрировать этого рода развалины будет труднее всего.

Возвращаюсь к хронологическому изложению событий.

7

Двадцать седьмое апреля. Вейдлинг является в Имперскую канцелярию для очередного доклада. Но в этот день ему не удалось повидать Гитлера. Среди его ближайшего окружения — явная растерянность. Люди о чем-то шепчутся по углам. Атмосфера скрытого скандала.

Оказалось, что из подземной резиденции Гитлера сегодня сбежал, переменяв свой опереточный мундир на скромный пиджак, один из ближайших к Гитлеру людей, 37-летний генерал СС Фегелейн, представитель Гиммлера при Гитлере. Он был женат на сестре Евы Браун. У него было прозвище — Флейгелейн, что значит — грубиян. Основной чертой его была наглость — от

сущения своей безнаказанности, как фаворита и родича фюрера.

В тот же день сыщики, посланные разъяренным Гитлером на поиски Фегелейна, задержали его в одном из предместий Берлина.

Он был приведен в Имперскую канцелярию. Через день его расстреляли во внутреннем дворе.

Этот же день отмечен зверским приказом Гитлера. Он распорядился открыть шлюзы и затопить водой реки Шпрее подземную станцию метро позади Имперской канцелярии. На этой станции уже показывались патрули наших наступающих частей. В туннелях станции лежали тысячи раненых немцев, о чем Гитлеру было известно. Они все были утоплены.

Воскресенье 29 апреля. Вечер. Генерал Вейдлинг снова является к Гитлеру для доклада. На этот раз его принимают.

Вид фюрера неузнаваем. Мышцы лица в непрерывном и произвольном движении. Левая рука и нога дрожат в непрекращающемся припадке Паркинсоновой болезни. Выпучекные глаза остекленели. Голос еле слышен. На докладе присутствуют: Геббельс, старший адъютант Гитлера генерал пехоты Бургдорф, тень Гитлера — Мартин Борман и начальник генштаба, закадычный друг Бормана и его креатура, генерал Кребс.

Геббельс, которого Вейдлинг давно не видел, поразил его своей мертвенной бледностью. Это была бледность подземного жителя. Геббельс славился своей трусостью. Даже когда не было тревоги, он не выходил из убежища. Уже много времени никто не видел Геббельса на поверхности земли. Он вел жизнь крота.

Вейдлинг приступает к докладу, которому суждено было оказаться его последним докладом. В течение полутора часов он доказывает, что долее сопротивляться невозможно, — рухнули все надежды на снабжение Берлина с воздуха боеприпасами и продовольствием.

Послышалось ответное бормотание Гитлера. Дескать, им от- дан дополнительный специальный приказ о переброске в Берлин боеприпасов и продовольствия, и если завтра положение с достав- кой не улучшится, то он даст санкцию на оставление Берлина и попытку войск прорваться.

Вейдлинг сказал:

— Мой фюрер, как солдат, я должен прямо сказать, что нет больше возможности защищать Берлин и вас. Может быть, есть еще возможность для вас лично выбраться отсюда!

Человек с черными усиками, с дергающимся лицом проле- петал, уставившись перед собой мутными, как у наркоманов, глазами:

— Бесцельно... Мои приказы... Их никто не выполняет...

И замолчал, поникнув. И эта лаконичность, столь необычная для этого самовлюбленного болтуна, поразила Вейдлинга боль- ше всего.

К этому моменту в резиденции Гитлера трудно было найти трезвого человека. Пили все — генералы, адъютанты, секретарши, телохранители. Из тайников были извлечены ликеры и вина тон- чайших букетов. Гитлеровская свора искала успокоения в пьяном забытьи. В эти дни тут же, под землей, Гитлер обвенчался с лабо- ранткой фотографа Евой Браун.

8

Следующий день, 30 апреля. Тяжелые снаряды пробивают стены Новой имперской канцелярии. Рушатся многопудовые хру- стальные люстры. По залу летают бланки со штампами «Импер- ский канцлер». В Мраморном зале с грохотом отваливаются глы- бы порфира.

В этот день, как рассказывали мне эсэсовцы из отряда гитле- ровских телохранителей, их построили в подzemелье, со знаме-

нами, во главе с их командиром, начальником личной охраны Гитлера, бригаденфюрером СС Монке. Потом появился Гитлер в штатском черном костюме, с ленточкой железного креста на лацкане. Он прошел по фронту отряда. Он держался с обычной напыщенностью, толстые ноги топали, не сгибаясь в коленях, правая рука, заметно дрожащая, была вытянута жестом, который он считал античным. Словом, все, как всегда. Одно только необычно: Гитлер молчал. Этот истерический говорун не проронил ни слова. Почему! Потому ли, что он не хотел выдать дрожь своего голоса? Или потому — если это был не Гитлер, а его двойник, — что ему запрещено было разоблачать себя несходством голоса!

В тот же день, 30 апреля, в 12 часов 30 минут генерал Вейдлинг созывает у себя в штабе совещание командующих секторами обороны Берлина, сильно сократившимися к этому времени. Участники совещания склоняются к мысли, что надо прорываться из Берлина. В это время на совещание входит посланец Гитлера — офицер отряда его личной охраны, обер-штурмбанфюрер СС [соответствует по званию подполковнику].

При виде этого рослого молодца, гитлеровского преторианца, у Вейдлинга появилась привычная мысль. Он сказал, наклонившись к своим офицерам:

— Внимание! Он имеет приказ расстрелять меня...

Эсэсовец подает генералу Вейдлингу пакет. Это — письмо от Гитлера. К приятному изумлению генерала, Гитлер предоставляет ему этим письмом свободу действий.

Но в этот же день, часа через три, перед Вейдлингом снова предстает тот же обер-штурмбанфюрер с новым письмом. На этот раз оно подписано адъютантом командира бригады СС, обороняющей Новую имперскую канцелярию. В нем Вейдлингу предписывается: 1) приостановить все приготовления к прорыву из Берлина, 2) оборонять Берлин до последнего человека, 3) с по-

лучением сего явиться к начальнику генерального штаба генералу Кребсу.

Несколько ошалевший от всех этих противоположных приказов и в изрядном беспокойстве за свою судьбу, Вейдлинг в 19 часов 00 минут прибыл в Новую имперскую канцелярию, пробравшись сквозь пылающие улицы, оглашаемые свистом снарядов.

Он пришел в кабинет Гитлера. Здесь он застал тройку: Геббельса, Кребса и Бормана.

Эта компания сообщила Вейдлингу, что сегодня, 30 апреля, в 15 часов 00 минут (то есть через полчаса после того, как смельчаки из батальона капитана Неустроева водрузили над рейхстагом красный флаг) Гитлер и его жена покончили самоубийством, приняв яд и после этого для верности застрелившись. Трупы, согласно желанию Гитлера, были сожжены в саду Новой имперской канцелярии, в «Саду самоубийц».

Вейдлинг слушал разинув рот. После этого Геббельс, переменяя траурный тон на деловой, объявил:

— Фюрер в своем завещании назначил правительство: президент — адмирал Дениц, министр партии — Борман, имперский канцлер — я, доктор Геббельс.

У Вейдлинга к этому моменту сложилось одно определенное желание, быть может, самое сильное, какое он имел во всю свою жизнь: выжить во всем этом кровавом переполохе. И он дал себе слово выжить любым способом.

9

В Берлине давно поговаривали о том, что в Новой имперской канцелярии вместо Гитлера сидит его двойник. В этом нет ничего невероятного. У Гитлера до того заурядная наружность, что подобрать ему двойника или даже нескольких — нетрудно. Неза-

тейливая смесь из черных усиков, лихого сутенерского зачеса, низкого лба и бульдожьего подбородка — черты, распространенные среди обитателей берлинского уголовного дна. Один из «трупов Гитлера» я видел 2 мая в Новой имперской канцелярии. Говорю — один, потому что всех их было, кажется, шесть. Передо мной лежал человек, сильно смахивающий на Гитлера, в черном костюме, с ленточкой железного креста. Призванные для опознания главный врач Гитлера и вся его челядь не признали ни в одном из трупов своего фюрера. Дескать, у настоящего Гитлера были сильно развиты надглазные кости (черта, между прочим, характерная для пещерного, так называемого неандертальского человека из четвертичного периода, а в наше время — свойственная человекоподобной обезьяне породы шимпанзе), отсутствовали еще какие-то зоологические достопримечательности его наружности. У всех шестерых двойников во лбу зияла дырка от револьверного выстрела. Были ли они доведены до самоубийства, или их прикончили гитлеровские лейбгвардейцы? Какая грязная драма в стиле пошлых бульварных романов скрывается во всей этой истории?

Поверил ли генерал Вейдлинг в смерть Гитлера? Он вообще не задумывался над этим. Вейдлинг думал не столько о смерти Гитлера, сколько о жизни Вейдлинга. Он говорит:

— Если действительно пошли на трюк с двойником, то это самый глупый и гибельный обман, на который когда-либо пускался национал-социализм.

Другой пленный генерал вполне допускал, что Гитлер скрылся.

— Вы видите Унтер-ден-Линден? Когда-то красивейшая улица Берлина, излюбленное место парадов и процессий. Сейчас — одни развалины по сторонам да обгоревшие липы и каштаны... — Он помолчал секунду, вздохнул и продолжал: — Но не в этом дело. Вы заметили, что Унтер-ден-Линден очень широка, так широка, что вполне может служить взлетной дорожкой. Так оно и бы-

ло: последний аэродром Берлина. А еще совсем недавно в берлинском аэроузле было тридцать пять площадок... И вот несколько дней тому назад, а точнее — 30 апреля, с Унтер-ден-Линден поднялись двадцать самолетов и улетели в неизвестном направлении. Кто знает, быть может, на одном из них был Гитлер! Кроме того, в подземелье под Новой имперской канцелярией есть рельсовый ход для самолетов...

Ему возражал пленный полковник:

— Я не знаю фактов, но я заключаю о смерти Гитлера чисто умозрительно. Это не человек подполья. Это человек подмостков. Он не может жить в изгнании, в безвестности. Ему нужны публика, прожекторы, реклама. Кроме того, он трусоват. Известно, что пресловутый железный крест первой степени, который Гитлер якобы получил во время первой мировой войны, он просто украл или купил в смутные дни 1918 года, когда это нетрудно было сделать. Он ведь и в строю не был, он окопов не нюхал,— он был вестовым при штабе Баварского полка... Я не сомневаюсь, что, в сознании безысходности и объятый страхом, он застрелился...

Вопрос этот, вообще говоря, не имеет большого значения. И сейчас я пишу обо всем этом только для того, чтобы показать, в каком уголовном смраде, в какой кровавой лжи и грязи кончался фашизм.

Перехожу к дальнейшему изложению его последних минут,

10

В серый облачный день 1 мая начальник генштаба, невысокий толстяк, генерал Ганс Кребс, явился к генерал-полковнику Чуйкову в качестве парламентаря.

Это было в квартале Шулленбург-Ринг, неподалеку от аэродрома Темпельгоф. Командный пункт Чуйкова занимал большой

пятиэтажный дом, сохранившийся целым, хотя фасад его был весь изъязвлен осколками. Разговор происходил под оглушительный аккомпанемент артиллерии. Неподалеку шел бой за центр.

Генерал Кребс попробовал взять тон, который ему казался светским, а на самом деле звучал в этой обстановке довольно развязно. Он говорил по-русски: перед войной он был военным атташе германского посольства в Москве. Он предался воспоминаниям.

— Вы помните, генерал,— сказал он, пытаюсь быть лиричным,— ровно пять лет тому назад, в этот самый день, первого мая тысяча девятьсот сорокового года, мы с вами стояли рядом в Москве на Красной площади во время парада!

— Нет,— сухо сказал Чуйков,— я не помню. Излагайте ваше предложение.

Слав с тона, Кребс пробормотал, что германское командование предлагает заключить временное перемирие. Из слов Кребса явствовало, что уцелевшие фашистские власти стремятся к сепаратному соглашению с СССР. Все эти предложения были наотрез отвергнуты. Чуйков объявил, что советское командование согласно принять только безоговорочную капитуляцию Берлина.

Генерал Кребс удалился ни с чем.

Вернувшись, он нырнул в подземелье. И после этого генерал Вейдлинг снова был вызван на совещание в Новую имперскую канцелярию.

Прежде чем описать это примечательное совещание, последнюю предсмертную судорогу фашизма, посмотрим, что делалось к этому моменту в Берлине.

11

Берлин — город прямых улиц. Однако мы, группа военных корреспондентов, с трудом продвигались по ним: путь преграждали обвалы, пожары, воронки,

В воздухе витала жирная копоть.

Мы добрались до высоких берегов, частью каменных, частью бетонных. На том берегу — большие дома. Каждый дом — форт. Сильно стреляют. За домами — мозг правительственного Берлина, министерские здания.

Итак, эта вода, которая плещет у нас под ногами, — это действительно Шпрее! Чувство необычайного вьюсь сжимает сердце. Давно ли фашисты заливали радиаторы своих машин вожжской водой!

На реке нарядный павильон, изорванный осколками. Качаются ялики, гички. По-видимому, водная станция.

Старшина Георгий Четвертушкин рассказывает свою разведывательную партию в этих спортивных скорлупках и плывет через Шпрее. По воде бьют пули, мины. Всплывает оглушенная рыба. Бойцы подбирают ее в котелки. На том берегу развели костры и закусили свежей берлинской рыбкой.

Выше и ниже по реке было легче переправляться. Там — моторки. Их вели моряки. Приятно было видеть на Шпрее ребят в бескозырках с надписью на околыше «Краснознаменный Балтийский флот». В сорок втором они были в ленинградской блокаде, в сорок пятом они блокируют Берлин.

Мы пробирались в районы Шарлоттенбург и Шенеберг, руководствуясь отличным планом Берлина, который мы получили еще за Одером и где были напечатаны условными знаками разрушения, нанесенные Берлину воздушными бомбежками.

Бой постепенно сгущался к центру. Здесь образовался как бы остров — Александерплац, Тиргартен, район Имперской канцелярии, — бешено защищаемый гитлеровцами. Оборона здесь была сплошная. Немцы отступали, непрерывно стреляя из самоходок, из зениток, из 88-миллиметровых пушек, так называемых шершней, и даже из шмелей — мощных полевых гаубиц.

Фауст-метатели, засевши в верхних этажах, швыряли свои

гранаты даже в отдельных бойцов. Из нижних этажей били пулеметчики. С чердаков — снайперы. Вообще последние дни Берлина — 30 апреля, 1 мая и даже начало 2 мая — были самыми горячими во всем периоде берлинских уличных боев.

Перекресток одного из переулков Блюменштрассе был густо прегражден всяческими препятствиями: дерево-земляным забором, рогатками, надолбами, ежами, сбитыми из рельсов. Два смежных дома были соединены немцами в один форт. Разведчики штурмовой группы, которой командовал маленький молчаливый крепыш, младший лейтенант Арсений Коньков, дознались, что гарнизон этого укрепления довольно разношерстный: юнкера из берлинских военных училищ, фольксштурмисты, полицейские, зенитчики — большей частью беглецы из других, уже занятых районов Берлина.

Как всегда в уличных боях, между нами и противником не было нейтральной зоны, так называемой ничьей земли. Стороны упирались друг в друга лбами. И было очень интересно наблюдать наблюдателей — как они изощрялись, высматривая противника, а сами оставаясь незамеченными. Разумеется, бинокли, а тем более стереотрубы были отставлены. Действовал голый глаз: расстояние до противника измерялось метрами. Наблюдатель, старший сержант Мирон Гуревич, объемистый мужчина, с трудом втиснулся в какую-то разваленную камору и, сжимая в своей ручище кузнеца телефонную трубку, шептал хриплым страстным голосом:

— Кройте по угловому окну во втором этаже! Там фаустпатронщики...

Потом, после выстрела 203-миллиметровой гаубицы, стоявшей за стеной разрушенного дома:

— Порядок! Фаустникам — капут...

У Арсения Конькова и у всех четырех людей его разведывательной группы грудь и живот были белы от постоянного полза-

ния. Противник был и над головой — на чердаках, на крышах, и под ногами — в туннелях метро, ходах канализации. На штурм этих домов первыми поползли разведчики. Смелость их несравненна. Они ворвались в первый этаж и, действуя гранатами, кинжалами, заняли его. Путь к отступлению был для немцев отрезан. Самоходки и танки наши, стоявшие метров за четыреста отсюда, очень точно били по верхним этажам. Немцы были оглушены, ослеплены. И вскоре в облаках каменной пыли забелел обрывок простыни, привязанной к швабре. Немцы сдались. Успех этот был омрачен гибелью Арсения Конькова. Осколок гранаты разворотил ему грудь. Он лежал в углу на груде шинелей, окруженный друзьями, мальчишеское лицо его было, как всегда, задорно и чуть угрюмо. Он умирал, как и жил, молча и не жалуясь.

Весь день Первого мая прошел в жестоких боях. Праздник отмечали кто как мог. Бойцы одного подразделения целый день дрались с противником возле оперного театра. К ночи они вышибли его из последнего подвала на этой улице. Немцы отошли. Стихло. Бойцы решили отпраздновать наконец Первомай. Расположились в том же подвале, зажгли свечку, вынули еду, вино. Да вот беда — на чем все это разложить, на чем сесть!

В дрожащем, неверном свете оплывшей свечи ребята заметили большие штабеля бумаги. Обрадовались, подтащили эти объемистые тюки, быстро соорудили из них стол, скамьи. И тут только разглядели, что бумага-то не простая. Кредитная!

Это были деньги. Огромное количество денег. Подвал оказался кладовой банка. Здесь были тюки немецких марок, турецких лир, греческих драхм, болгарских левов... Бойцы на них закусили, а потом на той же валюте переспали. А с утра пошли снова в бой.

Покуда в одних кварталах шли бои, в других быстро налаживалась жизнь. Во многих районах уже были назначены бургомистры из немцев, на стенах висели наши листовки и приказы в не-

мецком переводе, и берлинцы, собравшись толпами, читали их взапас. Тут же происходила раздача продуктов населению. Бойцы ВАД [Военно-автомобильной дороги] спешно развешивали новые плакаты. Самым распространенным из них был тот, на котором было написано, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается. Старые плакаты не везде успевали убирать, и я видел на улице Коперникуштрассе такую картину. Стояла аккуратная очередь немцев с кошелками. Рядом — старый плакат на тему о гитлеровских зверствах с надписью: «Папа, убей фашиста!» На фоне этого плаката немцы со счастливыми лицами получали мясо из рук бойца на питательном пункте, организованном нашим военным комендантом.

12

В этот именно день, 1 мая, генерал Вейдлинг явился на совещание в Новую имперскую канцелярию. На лифте он спустился в один из нижних этажей убежища, в кабинет Геббельса, богато убранный коврами. Здесь была та же компания: Геббельс, Кребс, Борман.

Звуки боя не проникали сюда. Завязался спор. Геббельс упорно повторял:

— Фюрер запретил капитуляцию.

Борман поддерживал его. Генерал Кребс отмалчивался. Генерал Вейдлинг кричал в сильном возбуждении:

— Но ведь фюрера уже больше нет в живых!

Не отвечая прямо на восклицание, Геббельс повторял:

— Фюрер все время настаивал на борьбе до конца...

Вейдлинг покинул совещание, повторив перед уходом, что Берлин больше держаться не может.

В этот день берлинцы были ошарашены новой ложью Геббельса. В своем воззвании от 1 мая он уверял, что с Западного

фронта все войска сняты и идут защищать Берлин. Это было за день до капитуляции, и в Берлине уже не было человека, который не знал бы, что с Западного фронта не отозван ни один солдат и что они там массами сдаются в плен союзникам.

Берлинцы открыто говорили об этом на улицах, уже не обращая внимания на призывавшие их к молчанию плакаты с надписью «ПСТ!...» и изображением человека с пальцем на губах. В грохоте русских пушек разверзлись уста терроризированных Гитлером немцев.

Ни для кого не было тайной, что с Западного фронта было довольно трудно отозвать войска по той простой причине, что их там было не так уж много: против союзников действовало двадцать процентов, против Советской Армии — восемьдесят процентов всех вооруженных сил Германии. В сущности, продолжалось единоборство.

Зрительные впечатления впоследствии подтвердили это. После капитуляции Германии мы по приглашению союзников поехали за Эльбу. Мы углубились далеко на запад, до Гамбурга, Ганновера, до Рейна. Нас поразила, по контрасту с искромсанными в боях землями Восточной Германии, мирная нетронутость немецкого запада.

Разрушения в некоторых городах были делом рук авиации. Но никаких следов наземных боев. Мы не увидели даже оборонительных рубежей, которыми немцы так густо наштапиговали Восточную Пруссию, Померанию, Бранденбург. Было похоже, что гитлеровцы оставили дверь на запад непритворенной...

Уходя из кабинета Геббельса, Вейдлинг пригласил генерала Ганса Кребса на свой командный пункт. Кребс ответил не сразу. Он допил бутылку белого вермута, к которому пристрастился в последнее время, и сказал, запинаясь:

— Я останусь здесь до последней возможности, а потом пушу себе пулю в лоб. Думаю, что так же сделает и Геббельс.

Так Кребс и сделал. Так сделал и Геббельс. Что касается Вейдлинга, то он больше не колебался. Он не хотел стрелять в себя. Он не хотел, чтоб и другие стреляли в него. Он отдал приказ по частям, оборонявшим Берлин: кто хочет и может, пусть пребывается из Берлина, остальным — сложить оружие.

Генерал Вейдлинг заранее зачислил себя в категорию «костальных». А другие! Общее настроение штабных офицеров к этому моменту станет ясным из описания совещания, созванного Вейдлингом 1 мая в 21 час 30 минут. Это было совещание офицеров штаба обороны Берлина и офицеров штаба 58-го танкового корпуса, которым Вейдлинг командовал до своего назначения на пост командующего обороной. Вейдлинг заявил:

— Перед нами три пути: сопротивляться, пробиваться, капитулировать. Сопротивляться — бесполезно, прорываться — значит, даже в случае успеха, попасть из котла в котел. Остается третий путь...

Среди собравшихся не нашлось ни одного, кто бы не согласился с генералом Вейдлингом.

И в ту же холодную, ненастную ночь с 1 на 2 мая наш дивизионный радист, сидевший в подвале неподалеку от Тиргартена, поймал на немецкой волне открытый русский текст:

«Алло! Алло! Говорит 58-й танковый корпус. Просим прекратить огонь. К 00 часам 50 минутам по берлинскому времени высылаем парламентариев на Потсдамский мост. Опознавательный знак: белый флаг на красном фоне. Отвечайте! Ждем!»

Пять раз повторился этот вопль, исходивший откуда-то из провисанных остовов берлинских домов.

Моросило. Перила Потсдамского моста блестели. В черных водах Ландвер-канала отражалось огненное берлинское небо. Немецкий полковник, дрожа не то от сырости, не то от переживания, вытащил из-под влажного плаща бумажку и протянул ее нашему офицеру.

Там было написано:

«Полковник генерального штаба Теодор фон Дюффин является начальником штаба 58-го танкового корпуса. Ему поручено от моего имени и от имени находящихся в моем распоряжении войск передать разъяснение. Генерал армии Вейдлинг».

Мокрый полковник пробормотал «разъяснение»: штаб берлинской обороны принял решение о капитуляции Берлина...

«Разъясняя», фон Дюффин как-то странно ежился, нетерпеливо озирался, нервно помахивая пенсне. Потом сказал несколько извисящимся голосом:

— Понимаете... Надо торопиться... Пока не рассвело... Геббельс приказал стрелять в спину каждому, кто попытается перебежать к русским...

Наступило утро 2 мая. И тут на рассвете можно было видеть восхитительное зрелище. Через наш передний край, стараясь не спешить, но все же делая крупные шаги, шли три немецких генерала: Вейдлинг в длинных спортивных чулках, рядом Шмидт-Данквард и Веташ. За ними шагали в ногу три немецких солдата, три гренадера, нагруженные генеральскими чемоданами.

Капитан Савельев, наблюдавший эту картину, с чувством продекламировал:

Из Германии три гренадера
В русской плен брели...

Гренадеры были в касках, хотя уже с ночи здесь не стреляли, ибо наше командование отдало приказ прекратить огонь на этом участке. Немцев спросили:

— Для чего вы еще в касках!

— У нас есть и фуражки,— несколько обиженно сказал гренадер и в доказательство вытащил из-за пазухи фуражку,— но ведь идет дождь!

В этот момент я впервые с необыкновенной явственностью

ощутил, что война кончилась. Каска уже не имела для гренадера боевого значения. Она превратилась в зонтик. Но что за дьявольская аккуратность в такой драматический момент! Среди обломков своей рушащейся империи гитлеровский солдат охвачен одной заботой: как бы фуражечка не испортилась. Какая бесчувственная добродетель!

13

Препровожденный в штаб генерала Чуйкова, Вейдлинг был здесь допрошен.

Посреди рассказа о последних днях Новой имперской канцелярии обычная сдержанность вдруг покинула Вейдлинга. Он впал в короткую, но сильную истерику. В этом состоянии он не смог сам сформулировать приказ о капитуляции. Ему помог начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рефиор, крупный, щеголеватый мужчина с моноклем и тщательно расчесанным пробором. Казалось, что забота о собственной наружности составляет главное занятие этого рослого холеного офицера.

Исторический документ этот он составил с таким профессионально невозмутимым видом, точно он всю жизнь только и делал, что сочинял приказы о капитуляции.

«Приказ по войскам Берлинского гарнизона.

2 мая 1945 года

Солдаты, офицеры, генералы!

30 апреля фюрер покончил с собой, предоставив самим себе всех нас, ему присягнувших. Согласно приказу фюрера, вы должны были продолжать борьбу за Берлин, несмотря на недостаток в тяжелом оружии и боеприпасах, несмотря на общее положение, которое делает эту борьбу явно бессмысленной. Каждый час продолжения борьбы удлинит ужасные страдания гражданского

населения и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск, я требую немедленного прекращения борьбы.

Вейдлинг, генерал-от-артиллерии
и командующий обороной г. Берлина.

Нервно играя смуглым морщинистым лицом, Вейдлинг поместил под приказом свой росчерк.

Тотчас приказ был отпечатан нашими машинистками. Громкоговорители проревели его по-немецки над Берлином, уже разрозненно, но еще яростно сражавшимся.

Пока все это происходило, количество пленных на командном пункте росло. Появились и штатские. Один из них отрекомендовался:

— Советник министерства пропаганды Хейрихсдорф, ученый секретарь рейхсминистра доктора Геббельса. Господин Геббельс сегодня отправился совместно с семьей. Таким образом, сейчас единственный представитель власти в Берлине — статс-секретарь господин доктор Фриче. Угодно, я провожу вас к нему? Правда, надо пройти через линию фронта. Но с вами...

С ученым секретарем отправились наши офицеры. Их сопровождал немецкий солдат. Когда они вошли в расположение противника, солдат заорал:

— Внимание! Не стрелять! Это парламентареры!
Стреляли...

Все же удалось пройти к министерству пропаганды.

Там был хаос невообразимый. Мятущаяся, паническая толпа. Военные перемешаны со штатскими. Из этой толчеи выделился долговязый носатый мужчина в корректном черном костюме, словно он собирался на похороны.

— Я доктор Фриче...

— Ах, это вы и есть!

— Я готов командовать войскам о капитуляции.

Они очень любили командовать. Если уж нельзя во время войны, то хотя бы во время капитуляции.

— Что ж, командуйте.

— Но, простите, как! Наш министерский радиопередатчик не действует. Разрешите проехать к вам и командовать через ваш!

— А вы уверены, что войска вас послушают?

— Помилуйте, господин офицер! — На лице руководителя фашистской пропаганды изобразилась обида. — Я большой авторитет в Германии, я — член правительства!

Они все были доставлены к нам — и доктор Фриче, и доктор Кригк, видный фашистский публицист, и геббельсовская машинистка Курцава. Услуги Фриче к этому моменту уже были излишни: немецкие солдаты сдавались массами.

Фриче был разочарован: ему так хотелось командовать...

14

Второго мая в Берлине шел дождь, мелкий, холодный. Он не в силах был затушить пожары. Низкие, тяжелые тучи носились над развалинами, едва не задевая красных флагов на шпилях Берлина.

С утра еще шел бой, но днем на перекрестках, как кучи хвороста, вырастали груды винтовок, сдаваемых немецкими солдатами. Мы устремились к рейхстагу. Он дымился. Хоть бойцы здесь и уняли пожар, но стены еще тлели. Рейхстаг был весь изорван снарядами. Он превратился в какие-то гигантские каменные клочья. Главный вход угадывался по очертаниям.

На стенах памятные надписи — мелом, углем или выцарапанные осколком снаряда. Самой выразительной была, пожалуй, та-

кая. Под жирно перечеркнутым геббельсовским лозунгом «Русские никогда не будут в Берлине» было написано: «А я в Берлине. Красноармеец Панибратцев».

Я поднял камень от стены рейхстага и положил его в карман на память. Спутник мой, капитан Савельев, о котором я уже упоминал, кавалерист и разведчик, человек романтический, не был привержен к материальным реликвиям. Он также собирал коллекции, но в другом роде. Он вынул сигару и прикурил ее от тлеющей стены рейхстага. Этот поступок и был его реликвией. Он коллекционировал необыкновенные случаи, уникальные положения. Я не встречал человека, напичканного таким количеством диковинных сюжетов. Он делал из них рассказы, но только устные, очень короткие и всегда достоверные. Когда мы спустились в одну из станций берлинского метро, где только что кончился бой, Савельев порылся в кармане, извлек билетик московского метро и прилепил его к серой стене берлинской подземки. Этот случай тоже пошел в коллекцию.

Лестница в рейхстаге сохранилась. Мы поднялись по ней на второй этаж. Ступени были едва различимы под грудями кирпичей и штукатурки. Мы вошли в небольшой зал. Всюду зияли бреши. Мозаичный пол был завален рухнувшим плафоном и обломками мебели. Со стен свисали клочья штофных обоев. Посреди этих каменных джунглей на полу на корточках сидел боец. Он повернул к нам лицо, испачканное пороховой копотью, и радушно улыбнулся.

— Не угодно ли? — сказал он.

Мы приблизились и увидели, что боец кухарит. Он соорудил на полу, в камнях, маленький костер из щепочек разбитой палисандровой и красного дерева мебели. На этом костре в консервной жестянке он жарил картошку, подбавляя туда кусочки жирной тушенки.

— Откуда ты! — спросил Савельев.

— Мы из деревни Лыньково Рязанской области, — ответил боец.

И хотя мы только что сытно пообедали и Савельев абсолютно не хотел есть, он съел ложку дымящейся картошки, приготовленной на палисандровом костре 2 мая в рейхстаге колхозником из деревни Лыньково.

— Вкусно! — спросил боец обеспокоенно.

— Спасибо, — сказал Савельев, — чудесная реликвия...

Этот день как бы переломился надвое. Первая половина — кровавые уличные бои. Вторая — тишина, странная, непривычная уху. Весь остаток дня я бродил по Берлину, и тысячи офицеров и бойцов, так же как я, бродили по Берлину, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение того, что достигнута цель войны, больше того — цель жизни, и понимая, что впечатления этого дня особенны и невозобновимы.

— А помните, — вдруг сказал Савельев, — лужу!

— Какую лужу!

— А в Кубинке, на передовой, где мы барахтались в ноябре тысяча девятьсот сорок первого года, шестьдесят два километра от Москвы...

В это время в соседней компании офицеров, шагавших, как и мы, по Берлину, также послышалось: «А помнишь...» Там тоже вспоминали: о боях сорок первого года за завод «Пишмаш» в Ленинграде. И вообще слова эти: «А помнишь...» — то и дело звучали на улицах, как эхо, носились по Берлину. В тот день память с особенной охотой возвращалась к пережитому. Да, было несравненное очарование в том, чтобы, шагая среди закопченных, простреленных стен Берлина, вспоминать горькую славу первых годов войны.

Дольше всего я стоял у Бранденбургских ворот. Я старался припомнить: что же они мне напоминают! Почему так мучительно и сладко щемит сердце, когда я смотрю на них!

И вспомнил: Ленинград, блокада, Нарвские ворота! Очень похоже. Такие же классические колонны, так же выщербленные снарядами, такая же битая скульптура наверху, а вокруг площадь, так же истыканная снарядами и бомбами, и в самых воротах — такая же мощная, высокая баррикада. И немцы стояли от Нарвских ворот так же близко, как на днях еще наш фронт от Бранденбургских. Но немцы стояли три года, а мы несколько дней. И немцы так и не дошли до Нарвских ворот, а мы вот стоим и поглаживаем колонны Бранденбургских ворот, и Савельев говорит:

— Это жемчужина моей коллекции...

45

Берлин капитулировал в три часа дня. Сдался весь гарнизон — от шестнадцатилетнего фольксштурмиста до генерала артиллерии Вейдлинга. Мне пришлось читать в некоторых очерках, что генерал Вейдлинг в момент его пленения имел якобы угрюмый и злобный вид. С этим невозможно согласиться. По моим наблюдениям, наружность Вейдлинга в этот момент выражала глубокое удовлетворение. И это удовлетворение он испытывал не по каким-нибудь там высоким мотивам принципиальной убежденности или же военной целесообразности, а по причине, которую сам он излагает так:

— Хотя я и был командующим обороной Берлина, положение в кругах Имперской канцелярии было таково, что после принятого мною решения о капитуляции я почувствовал себя в безопасности, только оказавшись у русских...

Самый день капитуляции, 2 мая, был отмечен новой ложью Геббельса, последней ложью его. Уже немецкие солдаты складывали оружие, уже берлинские дома густо забелели флагами

капитуляции, и на углу Фоссштрассе и Герман-Герингштрассе я увидел старого немца, который восклицал, не обращаясь, собственно, ни к кому, а так, в пространство:

— О, как тихо! О, как тихо! Сколько лет мы не знали этой тишины!..

И, вытянув длинную, худую шею, старый немец слушал тишину Берлина, как любимую полузабытую музыку. На его морщинистом лице было наслаждение меломана.

А Геббельс в своем воззвании, которое вышло утром того же 2 мая, писал, что «героические защитники Берлина успешно отбивают атаки русских...».

Во лжи фашизм родился, во лжи существовал он, и ложью прозвучало его предсмертное хрипенье.

В Новой имперской канцелярии среди книг, которыми были забаррикадированы окна, было довольно много описаний грабительских гитлеровских походов: «Завоевание Норвегии», «Покорение Украины», «Победа в Африке». Немцы издавали их пышно. Какое-нибудь бандитское нападение на беззащитную Данию подавалось как новая «Илиада».

В книге «Поверженная Польша» я прочел любопытный эпиграф, принадлежащий перу генерал-фельдмаршала Кейтеля. Когда-то Германию называли страной философов. В фашистской Германии их роль заняли строевые офицеры. Кейтель писал:

«Гёте сказал, что гром французских пушек в битве при Вальми изменил историю мира. Великий поэт ошибался. Историю мира изменил гром немецких пушек в сентябре 1939 года».

Этот афоризм армейского мыслителя выглядел довольно забавно в день 2 мая среди руин раздавленного Берлина.

Еще забавнее выглядел сам автор этого пронизательного соображения. Я увидел его через несколько дней тут же, в Бер-

лине, когда он нетвердой рукой выводил свою подпись под актом о безоговорочной капитуляции Германии.

Но об этом — в следующей главе.

II. КАК ОНИ КАПИТУЛИРОВАЛИ

1

В ночь на 8 мая я получил бумагу, которую сохраняю как драгоценную реликвию:

«Предъявителю сего, писателю Славину Л. И., разрешается присутствие и работа на аэродроме и в залах заседания на особом мероприятии, проводимом командованием 8 мая 1945 года».

В таких деликатных выражениях было обозначено величайшее историческое событие: акт подписания капитуляции Германии.

Мы, группа военных корреспондентов, несколько взволнованные предстоящим зрелищем, с утра поехали на берлинский аэродром Темпельгоф. Там мы будем присутствовать при встрече с делегациями союзников. Там же мы увидим прибытие уполномоченных побежденной Германии.

Мы жили в те дни на юго-востоке Берлина, в пригороде Кепеник, в той части его, которая теряет городской характер и переходит в дачный поселок на берегу реки Дамм. Кепеник принадлежит к числу так называемых внешних кварталов Берлина. Несколько лет назад фашисты, отдавшись своей страсти к «колоссальному», включили в черту большого Берлина четырнадцать прилегающих районов, прибавив, таким образом, к шести с половиной тысячам га старого Берлина еще восемьдесят одну тысячу га нового, после чего Берлин превзошел по терри-

тории Нью-Йорк и Лондон, что дало нацистам пищу для нового хвастовства.

Кепеник сохранился целым, как и все почти внешние кварталы. Буря войны прошла по Берлину, не тронув его пригородов. Вокруг коттеджей цвели сады. Узкие улицы были полны народом. Берлинцы без конца сновали взад и вперед. Главным образом — женщины. Мужчин почти не видно было, одни старики и инвалиды. Все с корзинками.

В Берлине царил ажиотаж насыщения.

Возле продовольственных лавок, так называемых *Lebensmittel*, стояли очереди. Здесь происходила продажа продуктов по карточкам, организованная советским командованием. И то выражение удовлетворения на лицах берлинцев, которое вас поражало прежде всего, вызвано было двумя могучими причинами: первая — прекратились бомбежки, обстрелы, бои; вторая — появились хлеб, мясо, сахар и прочие давно невиданные в Берлине вещи.

Мы проехали по Дамм-Вег, свернули на Берлинерштрассе. Миновали Силезский вокзал, Трептовер-парк, станцию Нейкельн. Еще несколько дней назад имена эти были названиями плацдармов, командных пунктов, огневых позиций. Теперь это мирные улицы, если только можно назвать улицами вулканический хаос из кирпичей, железных балок и трупов. Все же и здесь живут люди в погребах, в уцелевших убежищах.

Показались огромные каменные амбары, окружающие воздушную гавань Темпельгоф. Стены их украшены рельефными изображениями орлов — горбоносых, голенастых, с нахальным задиром головы, что делает их похожими больше на петухов. Они изваяны в лапидарном стиле грубой прусской скульптуры, которая так характерна для Берлина.

Пролавировав меж огромных воронок, меж крошева немецких самолетов, меж ангарных руин, мы вырвались на травянисто-

бетонный простор аэродрома. Тут же стояло несколько больших немецких транспортных самолетов «Ю-52», совершенно целых. Движение наших войск было до того стремительно, что они не успели улететь. Да и куда! Следы воздушных бомбежек мешались со следами наземного боя. И здесь еще на днях жестоко дрались.

Рано еще. Знойно. В воздухе марево. У нас в Москве такая погода бывает в июле. От бетонных плит пышет жаром, как от печки. Недалеке домовито расположились советские истребители «Яковлевы». Вокруг — туманный силуэт Берлина. Проходит команда, назначенная в почетный караул. В траве лежит оркестр. Ему становится скучно. Для собственного развлечения он начинает играть. Бойцы пляшут в кругу. «Лезгинка», «Барыня», «Катюша» звучат под белесоватым берлинским небом. На древках, воткнутых в землю, чуть шевелятся под вялым ветерком флаги — британский, советский, американский. Ждем.

2

В 12 часов дня показывается большой серебристый «бойнг». Он садится. Мы встрепанулись преждевременно. Это прибыли из Москвы чины американского посольства. Они ложатся в траву, пестреющую ромашками и сдуванчиками, и включаются в томление ожидания.

Без десяти минут два с земли срываются и пулями врезаются в небо два «Яковлева». Потом еще два. И так — через короткие паузы — девять пар. Они понеслись на запад, к городу Стендаль, встречать союзников в воздухе, чтобы, окружив почетным эскортом, проводить их сюда.

Карандаши репертеров забежали по блокнотам. Все записали: «Майор Тюлькин». Так зовут летчика, который повел истре-

бители. Он бил гитлеровцев над Сталинградом. Он бил их над Берлином. Уже не первый раз сочетаются названия этих двух городов. И не последний. В Берлине часто вспоминается Сталинград. Отсюда по непрерывной лестнице побед мы достигли Берлина.

Без семи минут два взлетают ракеты. Слышен приближающийся шум моторов. И вскоре в небе вычерчиваются «дугласы», окруженные «Яковлевыми» и «спитфайрами». По полю рассыпается армия кинооператоров.

Из самолета по трапу спускается главный маршал авиации сэр Артур В. Теддер. Он представитель верховного командования экспедиционных сил союзников. Это высокий, худощавый человек, немолодой уже, но с юношески гибкой фигурой. Пилотка, сдвинутая набекрень, делает его еще моложе. Официально-любезная улыбка быстро сменилась на бледном лице его выражением радостной взволнованности, когда три рослых знаменосца, подняв флаги, пошли на посадочную площадку. Справа реяло американское знамя, слева — английское, посредине — советское. Туда же прошагал почетный караул.

Да и трудно было удержаться в этот момент от радостного волнения. Поймите: русские, американцы, англичане жмут друг другу руки, стоя на земле фашистской столицы, покоренной советскими войсками.

То же радостное волнение на лицах генерала Карла А. Спаатса, командующего стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов, и адмирала сэра Гарольда Берроу, командующего военно-морскими силами союзников в Европе.

Вслед за тем из самолетов вышел многочисленный состав союзных делегаций, а также военные корреспонденты: американские — с надписью на груди «War correspondent», английские — с надписью на погонах «Pressa». Они с любопытством оглядыва-

ются вокруг и вынимают блокноты. Черт побери, они в Берлине, в самой сенсационной сегодня точке мира!

Союзников встречают генерал армии Соколовский, комендант Берлина генерал-полковник Берзарин, с его выразительным, крупным, моложавым лицом под густой шапкой седых волос, генерал-лейтенант Боков и другие.

Сэр Теддер подошел к микрофону. Голос его прерывался вслением. Он произнес слова приветствия и благодарности.

В это время несколько в стороне опустился еще один самолет. Сначала почти никто не заметил его: все внимание устремлено на встречу с союзниками. Смекнув, что это за самолет, я направляюсь к нему. Так и есть. В дверях самолета показываются немцы.

3

Они сходят на землю, строго соблюдая чины и ранги. Первым — генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Это иссохший, пожилой человек с лицом землисто-сероватого цвета. Вероятно, пересидел в убежищах. Да и весь он какой-то серый — и мундир, и лицо, и подстриженные усики под крючковатым носом. Монокль в правом глазу делает его взгляд еще более стеклянным. Мускулы лица напряжены. Общую незначительность своей наружности Кейтель пытается возместить задиром головы, вроде как у этих выщербленных орлов на ангаре Темпельгосфа, на которых, кстати, Кейтель походит крючковатым носом и петушиной чванностью. В левой руке у Кейтеля — маршальский жезл, короткая, величиной с барабанную, палка с инкрустациями. Кейтель сделал жезлом каких-то три выпада, смахивающие на упражнения плохого жонглера. Между прочим, он непрерывно выпячивал эту палку. Он как бы говорил: «Вы видите, у меня маршаль-

ский жезл, обратите, пожалуйста, внимание». Это была воплощенная амбиция прусского милитаризма, несколько отсыревшая в подвалах.

Далее мы увидели генерал-полковника авиации Штумпфа, преемника Геринга по командованию воздушными силами Германии, низенького, толстоватого человека весьма заурядной внешности. Он озирался, неуверенно помаргивал. Рядом с ним третий глава делегации — унылый, сельдеобразный генерал-адмирал Фридебург. За ними еще человек двенадцать генералов и офицеров.

Один из наших генералов приблизился к немецкой делегации. И тут — любопытный психологический момент. Увидев советского генерала, Кейтель выдавил на своем лице любезную, светскую улыбку и, делая округлые приветственные жесты, кланяясь и расшаркиваясь, семенящими шажками пошел навстречу нашему генералу. За ним, улыбаясь, с той же напряженной любезностью и деликатно притопывая, двинулась вся немецкая делегация.

Расчет Кейтеля был ясен. Он хотел инсценировать встречу равных с равными. Дескать, это неважно, что мы побежденные, а вы победители; мы, генералы, протягиваем друг другу руки поверх армий, стран и событий.

Этот циничный расчет не оправдался. Генерал наш, окинув немцев деловитым взглядом, молвил:

— Эгих двух,— при этом он указал в сторону Кейтеля и Штумпфа,— в эту машину, этих трех — сюда... — и т. п.

Лакейтель сразу поблек. На лицо его набежала смесь злобы и приниженности — выражение, которое не покидало Кейтеля весь день 8 мая.

Итак, германская делегация двинулась к машинам. Не отрываясь я глядел на них. Они шли строем, по четыре в шеренге, соблюдая ногу, — это невероятное подразделение генералов покоренной Германии. Никто их не выстраивал в этом порядке, они

сами его приняли, подчиняясь той силе строевого автоматизма, которая владеет каждым фашистом, будь он солдат, генерал или заурядный гражданский бюргер. Они шли под охраной английских офицеров, конвоировавших их на всем пути от Фленсбурга до Берлина.

От самолёта до автомашины путь был невелик — метров двести, не более. Две минуты ходу.

Немцы шли, держась с какой-то деревянной напряженностью, свойственной многим немецким военным. Они шли, позванивая шпорами, аккуратно топая лаковыми сапогами; под ногами их клубилась берлинская пыль. Это — пыль от бесчисленных разрушений, обволакивавшая весь Берлин, как туман, красновато-серая, кирпичная и алебастровая пыль войны. Гитлеровцы шли, уткнувшись глазами в землю, изредка, только на мгновение, с воровской беглостью озираясь по сторонам и тотчас потупляя взгляд, чтобы не видеть зрелища покоренного Берлина. Правифланговым в первой шеренге шел Кейтель, нервически сжимая в руке маршалский жезл.

И многое вспоминалось нам при виде этого необыкновенного шествия: и раны Сталинграда, и страдания Ковентри, и муки Ленинграда, и унижения Парижа. А они шли, машинально шагая в такт торжественным, словно сияющим звукам марша, приветствовавшего союзников.

Усевшись в машинах, немцы ждали момента отправления. И хотя они старались не смотреть в ту сторону, где происходила встреча с союзниками, и стилизовали величественную неподвижность, но глаза и головы их незольно поворачивались туда, где реяли флаги и гремела музыка. Постепенно толпа корреспондентов вокруг немцев поредела. Интерес к ним исчерпан. Все понятно.

Но вот начался разъезд с Темпельгофа. И с полсотни легковых

автомобилей, вытянувшись блистающей вереницей, двинулось сквозь Берлин. Впереди ехали представители Советской Армии и союзников. В хвосте — немцы.

4

Темпельгоф расположен на юге города. Карлхорст, цель нашей поездки, — в его восточной части. Мы проезжаем значительный кусок Берлина. Особенный интерес зрелище Берлина представляет для тех, кто его еще не видел после нашей победы, — для американских и английских делегатов. Кое-где еще не унялись пожары. Местами из входов в метро — этих стандартных, неказистых станций — выбивается дым. Иногда рельсы метро выходят на поверхность и следуют на железных столбах на уровне четвертых этажей. От этого надземного пути остались только фрагменты.

Немецкие делегаты не выдержали принятого ими на аэродроме стиля монументальной невозмутимости. Они прильнули к стеклам машин. Они видят грандиозные развалины. Они видят берлинцев, убирающих с мостовых кирпичи и щебень. Вот несколько немцев роются в руинах магазина под вывеской «Деликатесы» и что-то непрерывно суют в карманы и корзинки. Быть может, в эту минуту генерал-фельдмаршал Кейтель вспоминает свой недавний приказ, в котором он писал: «По полученным сообщениям, в эвакуированных районах Германии, относящихся к зоне боевых действий, немецкие солдаты повинны в тяжчайших преступлениях по отношению к собственности немецких сограждан... Мародерство и преступления по отношению к собственным, немецким согражданам должны наказываться самыми строгими мерами. Смертная казнь не применяется только в исключительных случаях».

Мы следуем по длинной и широкой Скалицерштрассе вдоль

эстакады городской железной дороги. Она протянута над городом на высоте семи метров. Беренца машин всем своим длинным лакированным телом извивается меж ее поваленных чугунных столбов.

Пересекаем узкую грязную Шпрее по мосту, который немцы не успели взорвать.

Гертнерштрассе. И здесь толпы немцев занимаются туалетом своей раскрошенной столицы. Кое-где воспрянувшие духом владельцы пивных пытаются засветить неоновые вывески. Кипит берлинский муравейник. Люди безостановочно снуют взад и вперед. Они спешно меняют места жительства, соседей, друзей. Всеобщая перетасовка.

Должно быть, многие немцы искренне рады тому, что фашизм пал. Гигантский сквозняк, поднятый нашим наступлением, вероятно, протрезвил некоторые мозги, опьяненные нацистской пропагандой. Но я не мог отделаться от мысли, что если отрезвление захватило и некоторую часть гитлеровцев, то только в самую последнюю минуту, когда их поставили на колени...

Неожиданная встреча. Длинная процессия иностранцев, освобожденных из гитлеровских лагерей. Флаги всех наций — югославские, итальянские, французские, голландские и прочие — веют над тележками, над велосипедами, над детскими колясками, в которых освобожденные везут свою кладь. На столбе надпись на всех языках с указующей стрелой: «На сборный пункт советских и иностранных граждан». Немецкие делегаты отворачиваются. На другой стороне рослый негр с добрым и веселым, как у ребенка, лицом, увидев в машинах советских офицеров, восторженно машет рукой. Немецкие делегаты отворачиваются.

Въезжаем в просторную Франкфуртер-аллею. Отсюда начинается наименее пострадавшая часть Берлина. Много целых домов. На них флаги, белые и даже красные, впрочем, с явствен-

ными следами только что оторванных свастик. Окна раскрыты. Немцы, свесившись из окон, смотрят на нашу колонну.

Да и на улице, покинув очереди у водоразборных колонок и бросив смотреть на нашу регулировщицу, на которую они не устают глазеть часами, немцы скапливаются вдоль тротуаров по пути следования наших машин. Напрасно гитлеровские генералы опускают головы или принимаются усиленно сморкаться, пытаясь заслониться от народа носовыми платками. Берлинцы узнали их. Это видно по внезапному оживлению, с каким они переговариваются и указывают друг другу на машины с немецкими уполномоченными. Я бы не сказал, что у берлинцев при этом огорченные лица.

Не все, однако, проявляют такой интерес к нашей процессии. На стенах Берлина есть магнит посильнее: приказы коменданта Берлина генерала Берзарина. Возле них — толпы немцев. Мало сказать, что они читают эти приказы, — они их штудируют. Один из немцев оглядывается и, бросив рассеянный взгляд на Кейтеля, снова углубляется в чтение. Кейтель — это прошлое. Берлинца не интересует прошлое Германии. Его интересует ее настоящее и будущее.

Снова встреча. На этот раз идет длинная колонна военнопленных. То ли оттого, что берлинцы уже привыкли к этому зрелищу, то ли по причине какой-то нам мало понятной бесчувственности — немцы не обращают никакого внимания на своих пленных земляков. Это я наблюдал не однажды и не только в Берлине. Редко-редко какая-нибудь хозяйка выставит на обочину тротуара ведро с водой и кружку; подавляющее большинство относится к пленным немцам с поразительным равнодушием, даже не смотрит на них.

Да и сами пленные не глядят на своих свободных соотечественников, а плетутся понурив головы. Впрочем, здесь, на Франкфуртер-аллее, многие пленные заметили в нашей колонне ма-

шины с немецкими генералами. И я видел, как пленные поднимали руки — не для приветствия, а гневно грозя своим бывшим начальникам. Это вызвало в машинах немецких уполномоченных новый грандиозный припадок насморка.

5

Мы въехали на улицу Альфридрихсфельде. Здесь много советских военных. На домах — гостеприимные вывески ВАД: «Гостиница для проезжающих офицеров», «Пункт технической помощи», «Питательный пункт», «Магазин Военторга» и т. п. Здесь также много детей. Они играли на этой широкой улице, уставленной тенкстыми деревьями и подбитыми танками. Дети очень довольны, что на улицах появились такие чудесные игрушки, как разрушенные дома и сгоревшие «тигры», в которых так интересно играть.

В «Павильоне для ожидания» — деревянной резной террасе, какие ВАДы немедленно воздвигают, где бы они ни разворачивались, — сидят сфичеры и бойцы, ожидая попутных машин, кто на Потсдам, кто на Франкфурт, кто на Дрезден и т. д. Молодой рослый казак посадил на колено белокурого малыша и катал его, как на коне. Маленький немец веселился, казак тоже, и они оживленно толковали на международном языке улыбок и жестов.

На этой улице воздвигнута огромная арка. Она увенчана изображением ордена Победы. По ее фронтому надпись: «Красной Армии — слава!» Это Арка Победы. Для гитлеровцев — Арка Поражения. Мы проехали под ней.

Потом мы свернули направо, на Шлоссштрассе. Сады, парки. Скоро Карлхорст. Это короткое, типично немецкое, тяжело набитое согласными слово прочно легло в историю.

Стремясь к точности и полноте описаний, я поспешно, на ходу, занову в свой блокнот:

«Въезжаем в Карлхорст. Конечная остановка исторического маршрута. Душный зной майского дня. Высокая фабричная труба, выщербленная снарядами. Все же она дымится. Сады цветут. Пахнет сиренью. Проезжаем мимо продовольственного магазина. Оттуда выходит немец. Средних лет, в мягкой шляпе, в золотых очках, благообразен. Он нежно прижимает к груди хлеб, мясо, завернутое в «Фелькишер беобахтер», кулек с сахаром. Один американский корреспондент выскочил из машины и попросил у немца «Фелькишер беобахтер». Увидев советских офицеров, немец снимает шляпу жестом вежливым и даже не лишенным сердечности. Путь к сердцу лежит через желудок. На одном из перекрестков Шлоссштрассе смотрю на Кейтеля. Он повернул свое пятнистое лицо альбиноса направо. Он видит надпись на доме, одну из тех, что были спешно намалеваны по приказу Геббельса в последние дни берлинских боев «Sie wollen leben, also kämpfen!» («Вы хотите жить — сражайтесь!»). Кейтель отвернулся. Как часто он отворачивается сегодня! Он смотрит налево. Там на тротуаре стоит группа дюжих молодцов в сапогах, с руками в карманах, с нагловатыми лицами, с белыми повязками покорности на руках. На этот раз Кейтель не отвернулся. Он пристально всматривался в молодцов, оглядывался...»

Сую блокнот в карман, потому что машина остановилась. Надо выходить. Мы приехали.

6

Перед нами сравнительно небольшой двухэтажный дом с четырехгранными колоннами и черепичной крышей, окруженный садом. Это столовая берлинского военно-инженерного училища в Карлхорсте, на перекрестке улиц Цвизелештрассе и Рейнштейнштрассе.

Делегации разошлись по своим комнатам. В окружении

экспертов и консультантов они принялись за составление документа о безоговорочной капитуляции Германии. Он короткий, но его сжатые, веские формулировки потребовали работы целого дня.

Мы тоже работали. Усевшись в кулуарах зала, мы писали корреспонденции о Темпельгофе, о начале дня. Написав, относили на узел связи, стрекотавший рядом, в одном из корпусов военно-инженерного училища. Через несколько часов наши первые корреспонденции были в Москве.

Был совсем короткий путь связи. В вестибюле на столе стояли два телефонных аппарата. Они были соединены непосредственно с Москвой прямым, высокочастотным проводом. Один из корреспондентов снял трубку и кричал, натуживаясь перекрыть гул разговоров и восклицаний, заполнявший вестибюль:

— Алло, я говорю из Берлина!.. Разве вы не знаете, что сегодня будет подписана капитуляция Германии!.. Факт! Так вот запомните, что я первый человек, от которого вы узнали это... Часа я не знаю, никто не знает, это может быть каждую минуту, ждем... Алло! Только что прибыла французская делегация... Да, она несколько запоздала... Вот она проходит мимо меня. Во главе ее представитель французской армии генерал Делатр де Тассиньи... Высокий, черный... В общем, наружность опишите сами по фото... Фото сейчас отправим самолетом... Алло! Какая погода в Москве!.. Дождь!.. А здесь жара, лето... И очень кушать хочется... Столовая есть, но мы боимся отлучиться... Алло! Позвоните моей жене и передайте привет из Берлина.

Так как никто не мог сказать, когда начнется процедура подписания, мы боялись отлучиться из зала. Часам к шести мы не выдержали. Столовая помещалась минутах в пяти ходьбы. Торопливо пообедав, мы рысью прибежали обратно. Все то же: ждем. История не спешит.

Иностранные корреспонденты изнывают от желания посмот-

реть Берлин поподробнее. В конце концов они решились и на машинах выехали в центр. Но через полчаса вернулись: тот же страх опоздать.

Томительное безделье. Все, что до сих пор было, уже описано, обснято, накручено на пленку. Кинооператоры установили в зале свои «юпитеры», радисты — звукозаписывающие аппараты. Мы разложили на нашем столе чистые блокноты, карандаши.

7

Смеркается. Бесконечно курим, гуляем по длинному вестибюлю, разговариваем с иностранными корреспондентами.

Один из них, представитель американских радиовещательных компаний, бородатый, высокий, с наружностью романтического плантатора, мечтательно говорит:

— Может быть, теперь наконец мне удастся поехать в Америку.

— А разве...

— Да, я уже восемь лет не был там.

— Почему!

— Каждый раз, когда я собирался ехать домой, в Европе что-нибудь случалось. И каждый раз это устраивали фашисты. О, как они надоели миру! Подумайте, сколько времени с ними возится вся планета. Они мешают жить. Слава богу, сегодня вечером все будет кончено с ними.

В другом углу немолодой американский корреспондент развивает теорию о том, что немцы «не меняются»:

— Не верьте этой внешней покорности. На дне ее — мечта о реванше. На моих глазах это четвертая встреча с немцами после войны и вторая — с Кейтелем. Считайте сами. Первая одиннадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года в Ком-

пъене. Вторая — двадцать восьмого мая тысяча девятьсот двенадцатого года в Зеркальной галерее Версаля. Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорокового года — снова в Компьене...

— Как же вы туда попали!

— В тот день, — говорит он, подмигивая, — я был швейцарским гражданином.

Все смеются.

— Вот там-то, в Компьене, — продолжает он, — я и увидел впервые Кейтеля. Ведь это именно он продиктовал французскому уполномоченному генералу Хюнцингеру условия позорного для Франции перемирия. А сегодня он сам в положении Хюнцингера. Вот судьба! Да, здесь, в Карлхорсте, на окраине Берлина, моя четвертая встреча с немцами. По красоте это, конечно, превосходит все предыдущие.

— Почему!

— Ну конечно! Немцев заставляют подписывать капитуляцию в их собственной столице. Это шикарно! Но все равно они не меняются. Я видел сегодня, как ваш казак ласкал немецкого ребенка. Многие видели это. Ну, такого маленького еще можно. Но старше десяти лет немец безнадежен. Нет, нет, не спорьте со мной. Я знаю, некоторые думают, что после поражения все немцы волшебным образом переменялись, все, даже старик Кейтель. Кстати, я могу показать вам его последнее фото.

Он вытщил из кармана номер «Фелькишер беобахтер», который он недавно на улице взял у немца.

— Этот номер от двадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года, — сказал он. — Знаете ли вы, что это был за день! День рождения Гитлера! Ему стукнуло пятьдесят шесть лет. Шикарный подарочек вы преподнесли ему тогда: начало берлинской операции. Я обязательно увезу эту газету в Америку. Реликвия!

Я попрошу джентльменов расписаться на газете и удостоверить, что она взята в Берлине у немца, который использовал этот праздничный номер как оберточную бумагу.

Мы развернули газету. О чем писала «Фелькишер беобахтер» 20 апреля 1945 года, в день рождения Гитлера и за несколько дней до падения Берлина!

Именинный номер имел довольно похоронный вид. Газета сократилась до двух небольших страниц. Статья ее редактора Альфреда Розенберга «День рождения фюрера во время решающей битвы» своим кислым и напыщенным тоном резко противоречила оптимистическому стилю сводки Главной квартиры. Огромная статья Геббельса истерически призывала население не бросать фюрера на произвол судьбы и обещала, что фюрер тоже не бросит «свой народ». Как раз на это место приходилось большое жирное пятно от мяса. Кроме того, там были инструктивная статья о способах приготовления чая из капустных листьев и многочисленные похоронные объявления о смерти офицеров и солдат, погибших на Восточном фронте.

Единственная иллюстрация, грязное фотоклише, изображала Гитлера, проходящего вдоль фронта солдат в сопровождении троицы: Деница, Гимmlера и нашего знакомого Кейтеля, — снова мы увидели это лицо со старческими оползнями, надутое от усилия казаться бравым.

Шум заставил нас обернуться. В зал входил маршал Жуков, окруженный делегатами. Мы быстро заняли свои места.

8

Стол руководителей делегаций стоял на небольшом возвышении. Это были места Жукова, Вышинского, Теддера, Спаатса, Берроу, Делатр де Тассиньи.

За длинными столами перпендикулярно столу руководителей разместились многочисленные члены делегаций и представители прессы. Места немецких уполномоченных за небольшим столом в стороне были еще пусты.

Заскрипели карандаши журналистов. Нью-Йоркский корреспондент вскочил на стол и зашагал по нему в своих тяжелых ботсах. Фотокорреспонденты взбирались на подоконники, на стулья.

Жуков поднялся и в сжатых, точных выражениях объявил цель этого собрания: принять условия безоговорочной капитуляции от командования вооруженных сил Германии.

После этого ввели немецкую делегацию.

В дверях показался Кейтель. Опять он проделал эти жонглерские выпады маршалским жезлом и уселся на стул, имея по правую руку от себя Штумпфа, а по левую — Фридебурга. Прочие двенадцать членов немецкой делегации остались стоять за их спинами.

По предложению Жукова Кейтель передал главам союзных делегаций документ, уполномочивающий германскую делегацию подписать акт о капитуляции.

От глав делегаций этот документ перешел для обозрения к корреспондентам. С интересом осматриваем его. Это — небольшая бумажка, подписанная гроссадмиралом Деницем. В угловом ее штампе — любопытное исправление. Под строкой «Верховное командование» черкилами зачеркнуто слово «Берлин» и от руки бегло написано «Главная ставка». Эта «ставка» так быстро бежала, что не успела отпечатать для себя новых бланков.

Исторический документ возвращается на стол руководителей, украшенный жирным отпечатком большого пальца американского корреспондента, испачкавшегося о мясное пятно на именном номере «Фелькишер беобахтер».

Большого простора для разговоров у немецких уполномоченных не было. Представители раздавленной Германии, они прибыли для единственной цели: подписать безоговорочную капитуляцию.

Но Кейтелю хотелось поиграть. В гитлеровской верхушке всегда господствовала страсть к театральным жестам и высокопарным выражениям.

Пока читали и переводили пункты акта о военной капитуляции, Кейтель беспрерывно рисовался. На лице его и во всей позе была рассчитанная надменность. Он сидел на стуле подбоченясь, как на коне, и старался усилить это выражение комически-торжественными манипуляциями маршалским жезлом: то он на него опирался, как на булаву, то с громким стуком брякал его об стол, то с чванливым видом возлагал на него волосатые длани. Когда Кейтель позорачивался, все на нем искрилось — от моногля в глазу до золоченого креста где-то возле пупа. В отличном документальном фильме «Берлин», к сожалению, отсутствуют многочисленные и очень выразительные моменты, когда с Кейтеля сползала эта его изрядно подержанная, траченная молью маска надменности и обнажалась его натуральная, смятенная, перепуганная физиономия.

Соседи его держались естественнее. На лице генерал-полковника Штумпфа с его наружностью разжиревшего колбасника царствовала покорная скука. Генерал-адмирал фон Фридебург, командующий военно-морскими силами Германии, казался воплощением стыда и растерянности.

Временами все трое, сблизив головы, тихо ссорились. Штумпф что-то шептал Кейтелю, смотря на него ненавидящим взглядом, и казалось, что он говорит: «Что вы болтаете! Подписывайте! Тоже нашли время трепаться...»

Для того чтобы подписать акт о капитуляции, германским де-

легатам пришлось пройти половину зала и подойти к другому столу, стоявшему возле президиума.

Кейтель взял перо. Защелкали фотоаппараты. Долго мы ждали этого момента. Были обращены в прах сотни городов, разорены цветущие страны, убиты миллионы людей, и русскому народу понадобилось развернуться во всю свою исполинскую силу, для того чтобы наконец Германия была повержена и этот серый человек с самодовольным невзрачным лицом, представляющий вооруженные силы Германии, поставил свою фамилию на лежавшем перед ним листе бумаги.

Процедура подписания акта длилась довольно долго, около часа, потому что надо было подписать много листов на разных языках. Кейтель не пользовался письменным прибором, стоявшим на столе, а подписывал собственным стилем, видимо не желая оставлять реликвии. Это, впрочем, не помешало впоследствии одному из корреспондентов завладеть чернильницей, как он выразился, «на память». Все в этом зале казалось реликвией, все дышало историей.

Фридебург подписывал, услужливо склонив свое длинное тощее тело. Толстяк Штумпф подмахивал быстро, не читая.

Но вот акт подписан. Кейтель натянул перчатки, величественно надулся и сделал движение, словно собираясь начать речь.

Но маршал Жуков сухо сказал:

— Немецкие уполномоченные могут быть свободны.

Бывшие гитлеровские генералы сгрудились в дверях, снова мы увидели ту же надоевшую игру маршалским жезлом — и немцы исчезли в берлинской ночи. Солдатски топая, они удалились под конвоем в свое помещение. Так кончилась война, самая грандиозная, какую знает человечество.

Я подошел к открытому окну. И странное ощущение — какая-то пронзительная смесь счастья и небывалости — вдруг охватило

меня. Я не мог понять, откуда оно идет. Я смотрел в окно и видел звезды, огни в домах; позади меня, из зала, лились на улицу ослепительные потоки света... Ах, вот оно что! Нет больше затемнения! Вот откуда это ощущение сказочного счастья! В первый раз с июня сорок первого года я смотрю из освещенного окна в ночь. Сколько раз за четыре года я мечтал об этом моменте! И вот он пришел — в Берлине, в доме, где только что сдалась фашистская империя.





СВИДАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ

ПЕРВЫЕ МИНУТЫ

Пертье вручил мне ключ. Шел дождь, и было уже поздно. Но это не остановило меня. Я бросил в номер чемодан и вышел на улицу. Так вот она наконец, Варшава, о которой я так долго мечтал, которую так кропотливо изучал по фотографиям и планам и которую давно уже населил героями своего воображения.

Сияющие окна витрин. В лужах кровавые отблески неоновых реклам. Щегольские автомобили шипят шинами по черному от дождя асфальту. Стараюсь разглядеть дома, но они уходят в вышину, во мрак. Только здесь, внизу, над тротуарами — празднич-

ное зарево люминесцентных фонарей. Маршалковская... Аллея Ерозолимские... Новый Свят... Я читаю названия улиц, как страницы романа.

Вероятно, я сейчас не воспринимал бы Варшаву так остро, если бы до того никогда в ней не был.

Но я помню среду 17 января сорок пятого года, день освобождения Варшавы. На броне самоходного орудия мы пересекли Вислу.

Перед нами простирался необозримый каменный хаос.

В войну случалось мне видеть разрушенные города. Но то были разрушения, сделанные в пылу боев.

А здесь перед нами открылось зрелище педантичного уничтожения гитлеровцами дом за домом большой европейской столицы. Мы бродили по этому пустынному бы в шем у городу, изведенному по разверстке. Местами нужна была сноровка альпиниста, чтобы брать обрывистые склоны гор из битого кирпича.

Города похожи на людей. Они шумят, растут, болеют, выздоравливают. О Варшаве в тот день нельзя было сказать, что она больна. Она была мертва. Прах. Сплошной каменный прах.

Я помню газету «Жизнь Варшавы» тех дней. Она выходила по ту сторону Вислы, в Праге-Варшавской. Она выпустила номер (он сохранился у меня) с лозунгом: «Варшава освобождена!» А на следующий день она сообщала: «Варшава — мертвый город»...

Но в мертвую столицу отовсюду устремились люди. Это было изумительное зрелище, похожее на звездный пробег. По всем дорогам ехали и шли уцелевшие варшавяне, нагруженные домашним скарбом своим.

Тогда мы задержались здесь ненадолго. Переночевали в одном из немногих сохранившихся домов. Нас приютил вернувшийся в тот день в Варшаву старый рабочий Юзеф Грабарек, дюжий мужчина с долгим суровым лицом, одетый в кожаную жилетку и холщовые штаны. Левую щеку его пересекал шрам. Мы так и не

заснули в ту ночь. Единственным слушателем нашим был бело-брысый мальчуган с презрительно оттопыренной нижней губой, внук Грабарека. Он один выжил из всей его обширной семьи. Посреди ночи он заснул тут же, за столом. А мы со стариком проговорили до утра. Было о чем — какие годы! А чуть свет расцеловались, дали друг другу слово непременно свидеться, немного покатали мальчика на самоходке и пошли дальше, на запад.

А когда весной после победы возвращались домой, мы снова увидели Варшаву. Грабарека я не застал: он был в партийной командировке на селе.

Но Варшава... С ней совершилось чудо. Хоть ни один дом еще не поднялся над этим гигантским кирпичным крошевом,— Варшава жила! Тысячи людей поселились здесь. Где! Теперь это была столица барачков и подземелий. На воротах полуразрушенного дома я увидел клочок бумажки, на котором торопливым почерком было написано: «Б у р о в о с с т а н о в л е н и я В а р ш а в ы». День и ночь люди расчищали улицы от щебня. Единственный инструмент — лопата. Да и тех не хватало. Можно ли ложками вычерпать море! Но варшавяне работали с такой яростью и верой (в первых рядах коммунисты), что уже довольно скоро стали обозначаться очертания улиц. Варшава была похожа на утопленницу, которую вытащили из воды и начали откачивать. Ока еще не встала. Но уже дышит...

Полный воспоминаний, я вернулся в гостиницу. Жду у лифта. Замечаю, что стены увешаны картинами. Впоследствии я убедился, что варшавские художники выставляют свои произведения не только в галереях и салонах, но и в кафе, в театральных фойе, в холлах гостиниц, даже под арками домов.

В углу вестибюля — вход в ресторан. Там на постаменте стоит странное сооружение из крючьев и сухожилий. Это абстракцио-

нистская скульптура. Оглядываю картины. Беспорядочные и уже изрядно приедавшиеся наборы цветных пятен — экстравагантность, ставшая шаблоном.

Завтра воскресенье, в ресторан валит народ. Тут раздеваются и прихорашиваются. Почти все молодежь, притом зеленая.

Всякие тут ребята: и поскромнее и поэлегантнее, и шумные и чинные, и совсем такие, как у нас, и не совсем такие, как у нас. Но в общем все славно, молодо и по-хорошему весело.

Попадаютя и другие, одетые с подчеркнутой небрежностью, — особый род дендизма: глухой черный свитер до горла, мятые брюки, демонстративно нечищенные башмаки. К этому у девчат преувеличенно залихватский чуб на глаза, у парней — шкиперская борода, обнимающая лицо узкой рамкой. Лица разочарованные, походка развинченная. Ни следа польской гжечиности¹. Выражение разочарованности тоже входит в набор этого вывороченного наизнанку шика. Возраст — от силы двадцать лет.

«Бог ты мой! — подумал я. — Я же видел этих модников зимой сорок пятого. Это были истощенные младенцы в лохмотьях...»

Я поднялся к себе на четырнадцатый этаж и распахнул окно. Тепло. Дождь прошел. Варшава мигает огнями до самого горизонта. Я долго смотрел на это море огненных многоточий, прорезанное прямыми магистралями, похожими на каналы, текущие светом, который полыхает, переливается через край. Вдруг в носшибнул сухой и пыльный, хватающий за горло запах битого кирпича, преследовавший нас здесь шестнадцать лет назад.

Контраст двух Варшав, той и этой, не покидал меня и в последующие дни. И только постепенно военные воспоминания стали блекнуть и отступили в сны, полные рассыпанных алогичных видений, похожих на лопотанье испорченной кибернетической машины.

¹ Вежливости.

СЛОВА НА КАМНЕ

Поутру Варшава показалась мне совсем другой — деловитой, подтянутой, энергичной. И кирпичный запах отнюдь не ночная галлюцинация, а реальнейший дух, излучаемый многочисленными варшавскими стройками.

На перекрестке двух оживленнейших улиц, Аллей Ерозолимских и Нового Свята, стоит дом (конечно, новый, как и все в Варшаве) «Клуба международной прессы и книги». На фронтоне его слова: «Весь народ строит свою столицу». Не на плакате эти слова, не на бумажной ленте, а врезаны в камень, стало быть, прочно, на десятилетия.

Действительно, очень скоро начинаешь понимать, что значит для поляков воссоздание Варшавы. Я даже встречал людей, которые склонны считать это самым крупным и главным делом в сегодняшней Польше. Разумеется, это — преувеличение, рожденное чисто варшавским патриотизмом. Достаточно сказать, что в минувшем году польские строители ежедневно сдавали пятьсот жилых помещений, а каждые три дня по два новых промышленных объекта. Так что не только Варшава — вся Польша меняется буквально что ни день. Но, несомненно, возрождение столицы — один из грандиозных подвигов польского народа. Притом такой, который длится и сейчас, ибо и сегодня еще Варшава остается гигантской строительной площадкой и останется ею, по-видимому, еще надолго. Когда вы узнаете, что в нынешнем году только на отрезке Аллей Ерозолимских от Маршалковской до Нового Свята будет проложено двадцать километров новых мостовых и семнадцать с половиной километров новых тротуаров, то вам и не побывав в Варшаве становится ясно, что даже центр ее еще далеко не приобрел законченного облика.

— Какой вам кажется Варшава? — спросили меня в первый же день.

— Очень новенькая, — сказал я. — Дома, как на витрине.

— Вот все приезжие так говорят, — заметил мой собеседник с некоторой грустью.

Но действительно, есть в первом впечатлении от Варшавы какое-то ощущение нарисованности, едва ли не макетности. Это, конечно, от обилия новизны, от воспоминаний о сорок пятом годе и от сказочной быстроты, с какой возродилась польская столица.

Со временем это чувство исчезает, и вы даже начинаете различать в облике Варшавы смену стилевых увлечений.

Вот «эпоха» архитектурных излишеств — громоздкие аркады, под которыми вечный полумрак. Они выглядят так, словно сами стыдятся своей неуклюжести посреди современных хоть и многоэтажных, но стройных и легких домов. Возникшие как следствие неправильно понятой монументальности, аркады непроизводительно поглотили уйму труда и материалов. Правда, под ними можно укрыться от дождя. Но дешевле купить зонтик.

В разных местах вы натываетесь на внушительные следы великой битвы между архаистами и новаторами. Одни охвачены страстью вернуть Варшаве прежнее лицо, милое, родное лицо матери — тенденция сыновняя. Другие — создать Варшаву новую, современную, юную — тенденция родительская.

Когда побеждали первые, возникал архитектурный пейзаж вроде жилого квартала Мариенштат, что у Силезско-Домбровского моста. Дома здесь старательно повторяют стиль градостроительства XIX века, созданный скорее домовладельцами, чем домостроителями. Это традиционное зрелище несколько оживляют живописные красные крыши и искусно выполненные сграффито.

Когда побеждали вторые, выростали «жилетки» (так здесь называют лезвия безопасной бритвы, а заодно по сходству и высокие обтекаемо гладкие здания), вроде нового корпуса министер-

ства транспорта на улице Халубинского, или по-современному красивые громадины типа Дома Партии с его строгими гармоничными пропорциями, или гостиница «Гранд-Отель» с площадкой для вертолетов на крыше.

Улица Рутковского невелика и узка. Но она приобрела ультрасовременный вид, обстрелившись почти сплошь домами в новом стиле.

Что же касается другой улицы — Кручей, то она выглядит как пережиток уже отвергнутого проекта застройки столицы. Проект отвергли, а здания остались. Этот проект предлагал разделить город на кварталы по функциям — административный квартал, торговый, культурный и т. д. Успели выполнить только один пункт этого схоластического плана — выстроили административный ансамбль на улице Кручей. Сейчас это рассматривается как монументальное следствие разбухания бюрократического аппарата в прошлом. Это вызвало в свое время здоровую реакцию, и вслед за тем в Варшаве было восстановлено и построено заново много промышленных предприятий.

Но все архитектурные распри разом утихли, когда дело дошло до восстановления Старого Мясца, этой жемчужины Варшавы, ее сердца, ее гордости, ее страсти. Тут архаисты и новаторы подали друг другу руки.

Наибольшему уничтожению подверглись два очень непохожих друг на друга района Варшавы — Старое Мясцо и гетто. Оба они долго и яростно бились с гитлеровцами, и в этом причина их полного исчезновения с лица земли.

Восемнадцатого апреля 1943 года отряды эсэсовцев, а также армейские части — пехотные и танковые — вступили в гетто для того, чтобы вывезти уцелевших жителей в лагеря уничтожения. Немцев встретил сгонь. Восстание длилось почти полтора месяца.

Одержав наконец при помощи тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации победу над гетто, немцы взорвали его

минами, сожгли огнеметами и перемололи бульдозерами. Средствами новейшей техники они ввергли этот район в первобытность.

Сейчас здесь большой жилой поселок Муранув. Возведение его оказалось трудной технической задачей. Территория была завалена щебнем, высота которого достигала четырех метров! Удаление этих трех миллионов кубических метров щебня потребовало бы трехлетней работы семи поездов и десяти тысяч человек с соответствующим количеством инвентаря. Пришли к смелому решению: строить на щебне.

Эксперимент удался, и сейчас 60 тысяч человек живут здесь в отличных, хотя и разностильных домах.

Время идет, и в самом Мурануве уже выросло счастливое поколение, которое не слышало разрывов фугасок и не видело крови. И только необычно высокое положение домов по сравнению с улицами, которые остались на старом уровне, напоминает о происшедшей здесь когда-то трагедии.

Нет, не только это! Здесь стоит памятник. Он изображает повстанцев, на лицах которых — обреченность и мужество. Он сделан из гранита, заготовленного немцами для памятника Гитлеру...

СТАРУВКА

Восстановление Старого Мяста, или, как ласково называют его варшавяне, Старувки, конечно, не имеет прецедента в истории мировой культуры.

Оно восстановлено все целиком со своими готическими и ренессансными домами и шатровыми черепичными крышами, и золочеными сграффито на стенах, и чугунными фонарями на витых кованых кронштейнах, со своими порталами, фризами, барельефами, нишами, решетками, мадоннами и василисками, гербами и дверными молотками.

Старушке недостает только одного: налета времени, пыли веков. Придет!

Впрочем, кое-где можно заметить облупившиеся стены. Но даже это воспринимается как реставрация живописного средневекового пятна, а не как дурное качество современной штукатурки.

С такой же скрупулезной достоверностью воссозданы примыкающие к Старушке Новое Место и начало старого варшавского тракта — улицы Краковское Предместье и Новый Свят.

Тот, кто видел картины венецианца Каналетто, помнит эти улицы такими, какими они изображены на его полотнах XVII века. Но если бы Каналетто воскрес сейчас, он и не заметил бы, что эти излюбленные им места отстроены заново. Реставраторам очень помогли его картины. Их точный и верный рисунок послужил современным варшавским архитекторам документом, по которому они воссоздали исторический облик старых варшавских улиц.

В этой воскресшей старине Старого Места есть новая деталь: стайка голубей, лепящаяся над порталом на Пивной улице. Происхождение этой скульптуры трогательно. В 1946 году в развалинах Старого Места поселилась одинокая старушка. Она взяла на себя заботу о немногих уцелевших в Варшаве диких голубях, кормила и поила их. Благодарное государство вскоре сумело предоставить ей комнату и пенсию. А когда она умерла, увековечило ее скромный подвиг таким своеобразным памятником.

Я посетил одну из квартир этого прелестного района. Она помещается на небольшой площади, которая называется Рынок Старого Места. Он окружен живописными барочными домами, похожими на театральные декорации. Пересекая площадь, я подумал, что на фоне их, пожалуй, действительно можно было бы поставить романтическую сказку, например «Три толстяка» Юрия

Олеши. И когда я входил в квартиру, у меня было такое чувство, как будто я вхожу за кулисы театра.

Конечно, строители сохранили средневековые только снаружи. Внутри — вполне современные квартиры. Варшава, — вероятно единственный город в мире, где старина и современность одного возраста.

Хозяин, пожилой инженер с худым, решительным, немного желчным лицом, продемонстрировал мне квартиру, действительно очень удобную, а потом потчевал меня кофе, которым здесь угощаются по каждому поводу, а если такового нет, то и без повода.

В ответ на мои восторженные отзывы о Старом Мясте он признательно поклонился и сказал:

— А знаете ли вы, что, гуляя по Старувке, вы, в сущности, ходите по полю сражения! Да какого!

— В сорок четвертом!

— Да. Здесь был сильнейший пункт Сопротивления. Вы видите: что ни дом — произведение искусства. И немцы били по ним с особым ожесточением. Тут было пекло!

— Вы были здесь тогда?

— Я защищал Старувку, и я же ее восстанавливал. Я хочу рассказать кое-что. Может быть, вам это пригодится.

Он уже знал, какое дело привело меня в Варшаву.

В это время в комнату вошел высокий полный мужчина с открытым, веселым лицом. Это был брат хозяина, тоже инженер. Он вел на поводке маленькую собачку из породы тех лохматых существ, о которых [как и о современных автомобилях] не сразу скажешь, где у них передок и где задок. Он предложил нам пойти погулять.

— Подожди, Тадеуш, — нетерпеливо сказал хозяин. — Слушайте. В ночь на второе сентября мы покинули Старое Място. Канализационными туннелями мы перешли в Центр. Так что, вы ду-

маете, сделали гитлеровцы, войдя в Старувку! Они продолжали разрушать ее. Для чего!

— Бессмысленная страсть разрушать, — сказал Тадеуш, лаская собачку.

— Нет! — почти крикнул инженер.

Его худое сильное лицо подергивалось от волнения.

— Нет! Зачем они сожгли единственный уцелевший здесь дом Барычков с ценнейшими музейными коллекциями!

— Маньяки, — отмахнулся Тадеуш.

— Нет! Будь это бессмысленная страсть разрушать — что делаешь! Варварство, но стихийное. А тут был расчет. Да! Сознательное по плану истребление польской культуры. Они, видите ли, считали так: будущее мы у поляков отняли — мы их поголовно стерилизуем, они не дадут потомства и вымрут. Настоящего у них уже нет — вместо Польши немецкая земля. Единственное, что у них осталось, — это прошлое, и они за него цепляются. Так вот мы у них отнимем и прошлое.

Тадеуш начал что-то говорить, но инженер перебил его:

— Вот почему варшавяне с такой страстью восстанавливали лицо Старувки, ее настоящее лицо, подлинное до мелочей, каким оно всегда было. Это протест, понимаете? Грандиозный всенародный протест против фашистского похода на душу польского гения!

Тадеуш добродушно улыбнулся.

— Ну что же, честь и хвала, — сказал он. — Пошли пройтись.

— Кому это, собственно, честь и хвала! — подозрительно спросил инженер.

— Великому духу польской непрактичности, — сказал Тадеуш, засмеявшись. Инженер молчал.

— Непрактичность в известном смысле — черта благородная, — осторожно заметил я.

— Вы думаете! — Тадеуш повернулся ко мне всем своим

объемистым телом, брови его иронически приподнялись. — Из-за этой благородной непрактичности Польша всегда была полигоном Европы.

Он говорил, обращаясь ко мне. Но у меня было такое впечатление, что он, в сущности, адресуется к брату, продолжая какой-то давний мучительный спор.

— Это что ж, новый позитивизм! — сухо спросил инженер.

— Называй как хочешь, — сказал Тадеуш.

— То есть против романтики и за реализм? Так ведь!

Мне показалось, что этой формулировкой инженер хочет как-то приподнять позицию брата в глазах приезжего из Москвы.

— Ну, знаешь, — ответил Тадеуш, улыбаясь, — это из тех знаменитых дилемм: что важнее мыть — руки или ноги!

И он засмеялся своим добродушным смехом толстяка.

— Я подожду вас внизу, а то моей собаке уже не терпится, — добавил он и вышел.

Когда мы остались вдвоем, инженер перевел разговор на другие темы. Он рассказал мне, что саперы (главным образом советские) извлекли из развалин Варшавы 98 778 мин. Он показал мне приказ Гиммлера от 11 октября 1944 года, где значатся слова: «...сровнять Варшаву с землей...» Зная о моем интересе к этой эпохе, он старался сообщить мне важные и точные сведения. Он поразил меня, рассказав, что еще в оккупированной Варшаве в сорок втором и в сорок третьем годах группа архитекторов в подполье работала над проектами восстановления столицы. Он был в этой группе. Не менее интересный факт: оказывается, в это же время группа немецких специалистов разрабатывала так называемый «план Пабста» — проект уничтожения Варшавы и возведения на ее территории небольшой военной резиденции для управления покоренной Польшей.

Инженер напомнил о братской руке, протянутой с Востока, о том, как прибыла в освобожденную Варшаву большая группа со-

ветских градостроителей, советом и делом включившихся в воссоздание польской столицы.

Я никогда не слышал о «плане Пабста» и попросил рассказать о нем подробнее.

Оказалось, что вскоре после захвата фашистами Варшавы генерал-губернатор Франк и рейхсфюрер СС Гиммлер осматривали город. Инженер сообщил мне даже точную дату этой прогулки двух палачей: 26 декабря 1939 года. Следы ее сохранились в дневнике Гиммлера в виде следующей записи:

«Варшава должна быть низведена до ранга провинциального города и никогда не будет отстроена в качестве польской столицы».

И действительно, вскоре фашистский бургомистр Варшавы доктор Оскар Денгель представил Франку план под названием «Die neue deutsche Stadt Warschau».

— Это было, — добавил инженер с отличающей его любовью к точности, — шестого февраля тысяча девятьсот сорокового года.

— Подробный план!

— О да! Он сохранился в наших архивах. Я вам покажу его копию. Составлен, знаете ли, с немецкой тщательностью. Ну, что вам сказать! Ведь профессия строителя — это профессия созидания, не правда ли? А у фашистов существовали не только лагеря уничтожения, но и архитекторы уничтожения. Один из этих архитекторов навыворот, некто Пабст, составил план немецкого городка Варшаву.

Инженер развернул небольшой свиток. Вот уж вправду где поработала рука вандала! Все памятники старины, все изумительные создания польского зодчества предназначались к уничтожению. За одним, впрочем, исключением — Бельведерским дворцом, который Пабст оставлял для резиденции Гитлера, «буде он пожелает прибыть в Варшаву». И, как известно, Бельведерский дворец уцелел.

Но история уготовила для Гитлера резиденцию в сырой яме под стенами Имперской канцелярии в Берлине.

На плане Пабста не существовало исконных варшавских улиц — Маршалковской, Мокотовской и многих других. «Городок Варшаву» был втиснут на площадь в шесть квадратных километров со 130 тысячами населения.

Судьба архитектора Пабста неизвестна. Что касается его вдохновителя, бургомистра Денгеля, то он как военный преступник был осужден на 15 лет тюрьмы воеводским судом той самой Варшавы, над разрушением которой он трудился. По отбытии наказания и перед возвращением в Западную Германию Денгель имел возможность своими глазами убедиться, что зря Гитлер наградил его военным крестом за «полезную деятельность в Варшаве».

Когда мы с инженером спускались на улицу, он сказал мне словно невзначай:

— Брат мой был одним из храбрейших командиров восстания. Да и сейчас неплохо работает. Но вот этот уход от идеиности... «Позитивизм» — он это называет. А по-русски есть такое слово?

— Делячество, сказали бы у нас.

Инженер задумался. Потом добавил:

— Знаете, люди редко бывают больше самих себя. Чаще они бывают самими собой. Но иногда — меньше самих себя...

ЕЩЕ НЕМНОГО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В некоторых странах существует обычай ежегодно выбирать красивейшую девушку города. Победительница конкурса красоты получает титул мисс Лондон, или мисс Токио, или мисс Копенгаген и т. д.

Когда мне сказали, что в Варшаве ежегодно выбирают не мисс, а «мистера» Варшаву, я удивился:

— Неужели красивейшего юношу столицы!

— Нет, красивейший дом столицы.

То есть самый интересный, самый удобный, самый изящный, самый современный из построенных в текущем году.

Конкурс этот организовала газета «Жице Варшавы», и он здесь очень популярен.

Я видел двух «мистеров» Варшава.

Победитель состязания 1959 года — дом на Кредитовой улице, спокойный, элегантный, с красивыми глубокими лоджиями, выгодный в пользовании. Мне сказали, что в строительстве этого дома удалось достигнуть большой экономии средств, и это тоже сыграло известную роль в его победе над соперниками. К дому прикреплена доска с именами создавших его трех архитекторов: В. Клышевича, Е. Мокжиньского и Е. Вежбицкого. Кстати, это та же тройка, которая возвела Дом Партии.

«Мистер» Варшава 1960 года выстроен в районе Муранув. Инженер-архитектор Вацлав Эйтнер сумел соединить в своем творении красоту пропорций с простотой и монументальным изяществом.

Когда в городе много строят, это, может быть, не очень удобно для прохожих — леса отжимают их с тротуаров на мостовые, на головы оседает строительная пыль. Но стройки вносят в облик города черту бодрости и веселого мужества. Варшава — старый борец. Она борется и сейчас. Да, это бой, бой с разрушениями, с бытовыми неудобствами, с жилищным... нет, уже не голодом, но все еще с недоеданием.

В самом деле, до второй мировой войны в Варшаве было около 600 тысяч комнат. Их населял 1 миллион 133 тысячи человек. Уже сейчас жилплощадь Варшавы больше довоенной — около 680 тысяч комнат. А живет в столице тысяч на двести человек меньше, чем до войны. Но примите во внимание, что основной тип жилья сейчас — двухкомнатная квартира с кухней.

Чтобы изжить жилищную тесноту, варшавянам не хватает примерно еще 60 тысяч жилищ. И хотя каждый день приносит варшавянам по 120 новых комнат, в 1961 году не удастся покрыть этот дефицит. Немалую долю труда и материалов отбирает ежегодный ремонт свыше 22 тысяч комнат. Кроме того, столица столицей, но ведь вся Польша требует жилищ. И нынешняя пятилетка должна дать городам 1 миллион 800 тысяч комнат, а деревне — 950 тысяч.

Когда вы идете через центр по Маршалковской улице, той самой, которая, по «плану Пабста», подлежала уничтожению, вам бросается в глаза странное несоответствие: по одной стороне огромное высотное здание Дворца культуры — дар советского народа. По противоположной, восточной, — черт его знает что: низенькие лавчонки, какие-то дощатые бараки и просто остатки сожженных и разбомбленных домов.

Это — большое место Варшавы, так называемая «одноэтажная Маршалковская». И это ее центр, то есть то, что является лицом всякого города, его сутью, его эстетической вершиной.

Центр Варшавы давно уже должен был застроиться. Но он представляет из себя стечение трудностей поистине необычайных.

Вообразите четыре гектара, вытянутые в длину. Кишка протяженностью в 800 метров, а глубиной всего в 50 метров.

К тому же будущие здания надо увязать с их «визави», Дворцом культуры. А этот гигант вознесся на высоту 237 метров, и общая кубатура его — 800 тысяч квадратных метров! Чем уравновесить эту «малютку», как его шутливо называют в Варшаве!

Много лет шел спор. Три конкурса следовали один за другим. Результаты двух первых вызвали у жюри отчаяние. Кое-кому задача начала казаться неразрешимой. Но многолетняя дискуссия разом утихла, когда на третьем конкурсе представил свой проект профессор Збигнев Карпиньский,

Макет проекта остроумен, убедителен и очень красив. Он решает основную проблему: что строить — жилые дома или торговые и административные учреждения.

И то и другое. Двести тысяч квадратных метров проект отдает под жилые дома и около пятисот тысяч — всякого рода общественным зданиям.

Он разумно уравнивает тяжесть Дворца культуры, противопоставляя ему четыре «жилетки» — тридцатиэтажную гостиницу и три восемнадцатизэтажных жилых дома.

Наконец, само распределение зданий гармонично сочетает удобства и изящество.

Когда проект профессора Карпиньского и его группы будет осуществлен (а сейчас уже сносят «одноэтажную Маршалковскую»), в центре Варшавы вырастет архитектурный ансамбль, достойный столицы народной Польши.

Вопрос, который мне задали в первый же день моего приезда: «Что вам больше всего понравилось в Варшаве!» — я услышал и на второй день, и на пятый, и на тридцатый. И я привык уже к тому, что каждый новый знакомый в Польше задавал мне этот вопрос.

Я отвечал:

— В Варшаве больше всего мне понравилась Варшава. Самый факт ее существования.

Разумеется, этот вопрос задавали многим приезжим. Особенно иностранным градостроителям, в том числе и тем, которые в сорок пятом году отрицали возможность воскрешения Варшавы и советовали построить польскую столицу в другом месте.

Было и такое мнение: ввиду того, что Варшава явно не восстановима, благоразумнее перенести столицу в Краков или в Лодзь. Но победило «неблагоразумное», романтическое решение. Оно-то и оказалось самым реалистическим.

Конечно, прелестна Старувка, и радуют глаз новые мосты на

Висле, и отрадно смотреть с Замковой площади на могучую перспективу трассы Восток — Запад. Но больше всего Варшава поражает как деяние, как подвиг, как колоссальное материальное выражение воли народа. И, признаюсь, отрадно сознавать, что в этом подвиге есть доля Советского Союза, что лучшие наши специалисты помогали варшавянам поднимать из развалин и ставить на ноги польскую столицу.

К 1965 году должна исчезнуть последняя варшавская руина.

Много ли их осталось в Варшаве? Подсчитано, что в польской столице еще лежит около четверти миллиона кубических метров кирпичного щебня — последний остаток «полезной деятельности» бургомистра Денгеля, архитекторов уничтожения и команд поджигателей (Verbrennungs Kommando).

По совету знающих людей я отправился на север Варшавы, где, по их словам, новые дома возникают на девственных территориях.

Я решил начать с Белян. Когда-то это были окрестности Варшавы, притом не самые близкие. Сейчас трамвай № 15 доставляет вас к самым воротам Белянского парка культуры и отдыха.

Район этот примыкает к лесному массиву. И это соседство, и самые дома, многоэтажные кубы в различных стадиях готовности, обилие кранов, общий вид большой оживленной стройки напоминают московский Юго-Запад.

Руин здесь не видно. Старший каменщик со стройки высокого белого дома объяснил мне, что Варшава строилась от окраин к центру. Впоследствии я убедился, что это не совсем так.

Раньше, несколько лет назад, Варшава росла неравномерно, угловато, как подросток — то ноги вытянутся, то шея. Сил неокрепшего организма хватало на что-нибудь одно.

Теперь Варшава формируется равномерно, как юноша в цвету, гармонично преображаясь в мощного мужа. Одновременно возводятся ансамбли зданий и в Белянах, и на Саской Кемпе, и

в самом центре города в тылу Дворца культуры, на тех пустырях, которые варшавский юмор уже успел окрестить «Диким Западом».

Ох, этот варшавский юмор!

ЮМОР В ЖИЗНИ И НА СЦЕНЕ

Почти каждый варшавянин, помимо того, что он делает какое-то свое дело, делает еще что-то и для Варшавы: строит ее или украшает, озеленяет, совершенствует, пишет ее историю, планирует ее будущее. Приезжих не может не трогать эта верность варшавян своему чудесно спасенному городу.

«Так как я не в Варшаве, то у меня неприятное ощущение, что я нигде», — пишет Казимеж Брандыс в своих остроумных «Письмах к пани Зет».

Но при всем том варшавский юмор, порой добродушный, порой с примесью горечи, иногда не совсем приличный, но даже и в грубоватости своей сохраняющий грацию, не щадит никого и прежде всего саму Варшаву.

Грузное здание бывшей конторы мыловаренной фирмы Шихта (сейчас здесь профсоюзное учреждение) — одно из немногих уцелевших в разрушенной Варшаве. Оно стоит у Вислы, возле трассы Восток — Запад, на улице Новый Зьязд, и огромной, безобразной кляксой пятнает этот чистый воздушный пейзаж. Вдыхая, варшавянин отпускает мрачно-ироническую сентенцию: «Разрушали Варшаву, так уж надо было и эту красотку взорвать...»

Когда вы спрашиваете, как вам лучше всего связаться с человеком, живущим на отдаленной улице, вы можете услышать и такой ответ:

— Если хотите побыстрее, идите туда пешком. Если не очень торопитесь, попробуйте поехать троллейбусом. А если у вас во-

обще время не ограничено, попытайтесь дозвониться по телефону...

В Варшаве образовалось несколько десятков новых улиц. Варшавянам наскучило давать им невыразительные, служебные названия. И на перекрестках появились таблички: у л и ц а У т к и ч у д а ч к и (это персонаж широко известного стихотворения Бжехвы), у л и ц а О с л и к а П о р ф и р и я (которого все поляки знают по юмористическому роману Галчинского «Клуб святотатцев»), у л и ц а Л о х м а т о г о Я ш к и (имя медвежонка из популярной сказки Милна, у нас она вышла под названием «Винни-Пух»), у л и ц а Б ы ч к а Ф е р н а н д о (тоже сказочный персонаж, хорошо известный польским детям по сказке Мунро Лифа в переделке Ирены Тувим).

Увидев, что я записываю эти названия, мой спутник, «позитивист» Тадеуш, недовольно поморщился. Он находит, что и в этих названиях проявился столь осуждаемый им романтически-мальчишеский нрав поляков.

А мне кажется, что в гораздо большей степени здесь проявилась забота о детях. На некоторых из новых улиц помещаются детские сады. И вы представляете себе, как приятно и весело ребятам ходить по улицам, окрещенным именами героев их любимых сказок.

Появилась в Варшаве и у л и ц а Р о м е о и Д ж у л ь е т т ы. Я, правда, не проверял, много ли туда стекается влюбленных. А в районе Вавера я как-то забрел на у л и ц у Б а х у с а. Не знаю, чем она заслужила это название. Но на него не без успеха могут претендовать по крайней мере еще несколько варшавских улиц. И в частности, улица Ясная, где у ресторана «Столица» по вечерам нетрудно заметить граждан, не всегда сохраняющих строго вертикальное положение.

В том же Вавере я обнаружил у л и ц у Г н о м о в (по-польски — краснолюдков) и у л и ц у Э з о п а.

Маленький подвальчик СТС мне рекомендовали как сценическое воплощение варшавского юмора. СТС — это Студенческий театр сатириков. Программа, которую я посмотрел, называется «Часть художественная». По жанру это довольно обычная форма самодеятельных интеллигентских ансамблей, распространенных и в Москве. Некоторые номера очень удачны, например песенка «Мы» З. Федецкого, отмеченная хорошим вкусом и подлинным остроумием, сатирический номер «Плывет Висла» А. Дравича и пародия А. Ерецкого «Второй день свадьбы».

Я видел комедию «Кугляже» на Камерной сцене Польского театра в Варшаве и пьесу Славомира Мрожека «Мучения Петра Охейя» в краковском театре «Гротеска».

Конечно, большая форма дает больше простора для сатирического пера. Впрочем, автор «Кугляже» Эдислав Скавронский назвал свою пьесу комедифарсом, застолбив таким образом свое право на гротесковые преувеличения.

Разоблачить эластичность обывательской морали — вот задача, которую он, по собственным словам, ставил перед собой в пьесе «Кугляже». Слово это в первоначальном смысле означает: фокусники. А в переносном — ловчи́лы, «блатмейстеры».

Пьеса идет с большим успехом, и не только благодаря отличной игре актеров и обилию смешных положений. Смех в зрительном зале раздается так часто, что автор вдруг усомнился: «Не забывает ли смешное идею пьесы!» Нет, конечно. Главный успех спектакля в той остроте, с какой он разоблачает приспособленцев и комбинаторов формации послевоенных лет.

«Гротеска» — театр кукол. Однако «Мучения Петра Охейя» — спектакль не кукольный. На сцене живые актеры в масках. В аттальных масках, конечно, — древняя традиция, идущая из античных времен. Вы скажете, маски лишены мимики! Но зато они типически выразительны. А голос, движения, живость мизансцен

создают полную иллюзию подвижности лица, особенно у Юлиуша Вольского, играющего главную роль, или у Л. Кубанека в роли безымянного научного работника.

Пьеса Мрожека всецело отвечает названию театра. Это драматизированный шарж. Автор назвал свое произведение фарсом. Скорее это клоунада, приемы ее по-цирковому резки. Но клоунада сатирическая. Острее устремлено против мещанства. Кажется, это излюбленная тема Мрожека, одного из наиболее тонких сатириков современной Польши. Рассказчик и сам рядится в шкуру мещанина с тем, чтобы в процессе своего рассказа саморазоблачиться.

Главное действующее лицо в пьесе — тигр. Он же изображен на театральной афише — в пиджаке, при галстукe, лапы его в канцелярских нарукавниках, в пышных усах есть что-то старопольское. Это герой пьесы; о нем говорят, его изучают, за ним охотятся, на нем наживаются. И при всем том этот центральный персонаж на сцене не появляется. Больше того, он вообще не существует. Он выдуман. Это плод воображения нескольких человек, уверовавших, что в ванной комнате квартиры Петра Охейя поселился тигр.

Этот кошмар, вдвинутый в пьесу, выгоден целому ряду лиц: сборщику налогов, научному работнику, шефу цирковой труппы, чиновнику министерства и другим — всем, кроме хозяина квартиры, смиренного маленького человека. В жизнь его вторгаются «наука и политика, искусство и администрация». Уют потерян.

Но и уюту этому — существованию ничтожному и пошловатому — тоже не симпатизируешь.

Не знаю, хотел ли автор, чтобы в выведенном им конфликте зритель не симпатизировал ни одной из сторон.

Скажут, что таково вообще свойство этого жанра — сатиры. Но в самой мрачности сатир Салтыкова-Щедрина мы чувствуем боль его разгневанного сердца.

А здесь! Да, остроумно, смешно. Но холодковато.

Приходилось слышать и такое мнение: пьеса Мрожека — чаплиниада, то есть заступничество за маленького человека. Но маленький человек Чаплина симпатичен. Он творец добрых дел. А Петр Охей не более чем повод для некоторых гротескных преувеличений.

Смерть его не трогает зрителя, и театр совершенно правильно поступил, закончив спектакль эпизодом, отсутствующим в пьесе и блестящим, как и вся постановка Зофьи Яремовой, — шутовским вознесением Охейя в небеса на ангельских крыльшках. Правильно! Ведь он и при жизни был бесплотен, как ангел.

В варшавский Современный театр я пошел нехотя. Меня совсем не привлекала старая и довольно пустая комедия Жюлья Ромена «Кюок, или Торжество медицины». Но со всех сторон мне усиленно советовали посмотреть актера Казимежа Рудзского, играющего главную роль.

Я не пожалел. Я испытал то высокое и довольно редкое наслаждение, которое доставляет игра первоклассного комедийного актера.

Рудзский ни на кого не похож. Это художник совершенно своеобразный. Манера играть — четкая, сухая, отточенная. Худое горбоносое лицо его почти неподвижно, сохраняя чуть брезгливую гримаску. Жест изящен, исполнен достоинства. Это — воплощение приличия. Но в каждом его взгляде, устремленном на собеседника с каким-то надменным недоумением, в каждой его интонации, обдающей партнера ледяным холодком, в каждом движении его сухопарого, гибкого тела столько внутренней издевки, почти клоунского эксцентризма и в то же время жизненной типичности, что в результате перед вами встает, можно сказать, эпический образ шарлатана и лицемера.

Я загорелся желанием посмотреть Рудзского в других ролях.

Увы! Мне сказали, что Кнок — его единственная крупная роль, что он вообще предпочитает роли второстепенные, превращая их, правда, в маленькие шедевры, что он превосходный конференсье на актерских капустниках и т. д.

А между тем какой бы это мог быть Тартюф! Какой Глумов!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХУДОЖНИКАХ

В прославленном варшавском кукольном театре «Лялька» давали «Волшебного коня». Я готовился увидеть спектакль. А увидел художника.

Старую сказку Болеслава Лесмяна приспособил для сцены и поставил Збигнев Копалко. Какие бы ни делал этот спектакль заявки на драматизм действия и фееричность постановки, здесь торжествует художник Адам Кильян. Все определила его удивительная работа — маски, костюмы, оформление.

Постановка была рассчитана на то, чтобы вызывать в зрителе некий трепет перед кознями злодеев, заставляя тревожно биться маленькие сердечки. Но так как в художественном темпераменте Адама Кильяна ведущей чертой является доброта, то и спектакль получился глубоко человечный.

Это тоже спектакль масок, то есть, как и в театре «Гротеска», на сцене не куклы, а актеры. Но в краковском театре маски-шаржи, а здесь маски фантастически-сказочные. Невозможно описать очарование этих масок и костюмов, созданных душевной фантазией художника. Они сделаны из ивовых прутьев. Эти комбинации из корзин одновременно неуклюжи и воздушны, фантастичны и необыкновенно выразительны. Добродушный юмор их присолен некоторой долей лукавства.

Кильян, конечно, — один из интереснейших польских театральных художников и графиков. Я совершенно согласен с Зенобиушем Стшелецким (тоже весьма интересным мастером), кото-

рый в своей содержательной статье «Полвека польского театрального оформления» справедливо сетует на недооценку замечательной работы польских театральных художников. Не знаю, почему так получилось, что в польском изобразительном искусстве линия возобладала над цветом, акварель над маслом, рисунок над фактурой. Но польский плакат, польская книжная графика, польское театральное оформление стоят сейчас очень высоко и, по-видимому, опередили польскую живопись.

Не связано ли с этим и то, что польским документальным фильмам, таким, как «Рождение корабля», «Сентябрь», «Варшава 1956», «Кальвария», мы не раз отдавали предпочтение перед художественными! Мне кажется, что влечение польского искусства к документальному жанру сказывается иногда и в литературе, например в сухой «стендалевской» прозе Брезы, примыкающей временами к стилю высокого репортажа, который так любил Пушкин (вспомним его «Кирджали»).

Художественные выставки в Варшаве весьма распространены. Вы просто наткнетесь на них повсюду, я уже упоминал об этом. Заслуживает одобрения обычай устраивать выставки на предприятиях. В нынешнем году Союз польских художников развернул на заводах и фабриках Варшавы свыше ста выставок, сопроводив их лекциями и встречами с художниками. Только как исключение можно увидеть на этих экспозициях работы абстракционистов. Между тем абстрактная живопись в Польше — отнюдь не запретный плод. Станные (но не из самых странных) работы абстракционистов висят даже в Национальном музее в Варшаве. Но персональная выставка на заводе лицом к лицу со здравым смыслом и еще не подпорченным эстетическим чутьем простого человека — дело совсем другое.

Художники-реалисты даже эксцентрического направления обычно все же исходят от жизни. Абстракционисты большей частью — эпигоны друг друга. Это напоминает старинную детскую

игру в «испорченный телефон». Даже лучшие их произведения, наиболее счастливо использующие игру геометрическими формами или цветовыми массами, будучи заключены в четырехугольные рамы, еще не приобретают от этого эмоциональной силы. Наоборот, они только теряют, расставшись с естественным для них состоянием ковра или набойки. Об абстрактной живописи можно сказать, что, как только она перестает быть бессмысленной, она теряет всякий смысл.

Что же касается так называемой фигуративной живописи или попыток создания абстракционистского портрета, цель которого все же, как и всякого портрета,— вскрыть существо модели, то сделать это путем перемещения глаза на коленную чашечку или уха на копчик не удавалось даже такому замечательному мастеру, как Пикассо. Его земляк Веласкес достигал этого без применения вивисекции.

Насколько я успел заметить, сравнивая названия картин с тем, что на них изображено, абстрактная живопись все больше удаляется в символизм. А ничего другого, в сущности, ей и не остается, как объявить себя знаками каких-то таинственных постижений. Нигде символизм не производил таких губительных разрушений, как в изобразительном искусстве. Даже абстракционистское искусство должно быть конкретным. Искусство так чувственно — в какие бы заоблачные сферы его ни заносили, оно возникает из самой плоти человека, даже такой философский жанр, как литература,— что тут обходиться платоническим отношением к материалу нельзя. С материалом надо жить.

Юзеф Шайна — выдающийся театральный художник Польши. Но, когда я увидел его станковую живопись, она вызвала во мне горестное удивление. Это были прилепленные к холсту или к фанере куски чего-то черного, кажется угля, а может быть, дегтя. Применяв метод «испорченного телефона», я без труда определил родословную этих картин. Так работает итальянец Бурри —

только не углем, а еще скандальнее — гвоздями, тряпками, обрывками одежды. Таким образом, Ю. Шайна выступает тоже как скандалист, но застенчивый.

Никак не пойму, зачем этот высокоодаренный художник занимается игрой в какие-то неопрятные ребусы! Что это — боязнь прослыть отсталым! Дескать, пусть дурная, но все же мода.

Я не берусь судить, что в каждом отдельном случае рождает падение художника в абстракционизм — ошибки вкуса, тирания моды или жажда сенсации.

Но вот выставка Марка Оберлендера в фойе одного из варшавских театров. Тут есть превосходные работы, например портрет Гарсиа Лорки, или акварель «Птицы», или драматический цикл автолитографий, изображающих варшавское гетто. А рядом — абстракционистские композиции, лучшие из которых достигают художественного уровня орнаментов из детской игрушки-калейдоскопа или узоров для текстильных изделий. И именно эти вещи датированы последними годами — грустное свидетельство заблуждений большого таланта.

ПОЛЯКИ И БОГ

Тот, кто был в Кракове, знает, какой славный вид открывается со стен Вавельского замка. Внизу, изгибаясь, бежит светлая Висла. А дальше, на экране неба, тонко вычерчены заречные взгорья, холм Костюшки, колокольни, башни, фабричные трубы, прозрачные дымы над черепичными кровлями. Мне особенно понравилось стоявшее неподалеку здание строгих очертаний с готическими стрельчатыми окнами. Я спросил соседа, что это.

— О, это старина! Бернардинский монастырь семнадцатого века.

— А сейчас что в нем?

Сосед посмотрел на меня с удивлением.

— Бернардинский монастырь.

По одной из центральных улиц в Варшаве шествует процессия маленьких школьниц. Идут парами, с аккуратными косичками за спинами, болтают, смеются, сосут леденцы. Все как в Москве. Видать, экскурсия в музей или театр.

Нет, позвольте, я и не заметил! Не все как в Москве: экскурсию ведет монахиня.

Мне объясняют:

— Это католическая школа.

Довольно скоро перестаешь удивляться мелькающим в уличной толпе экзотическим фигурам черных монахинь с их огромными чепцами, накрахмаленными до стекловидности, и рослых бордатых монахов в скуфейках и рыжих сутанах.

Жил я в Варшаве неподалеку от университета и не раз видел, как из ворот высыпала веселая гурьба студентов и среди них ребята с такими же веселыми и открытыми лицами, как и другие, с распахнутыми воротами рубашек, в таких же сереньких дождевиках, как и другие. Но из-под дождевиков — увидел я с удивлением — выглядывают не штаны, а — честное слово! — длинные черные юбки... Да нет же, конечно, это не юбки! Это сутаны. В Варшавском университете, помимо факультетов физико-математического, биологического, химического, исторического, юридического и геологического, был до последнего времени факультет богословский. Сейчас он выделен в отдельную академию. Но некоторые лекции бурсаки по-прежнему слушают в университете. А в Люблине вообще существует специальный католический университет.

Главную массу верующих в Польше составляют крестьянство и мещанские слои в городе. А среди рабочих — вчерашние крестьяне, недавно завербованные на крупные заводы и стройки.

В Познанском университете историю искусств преподает

исендз. Сходная картина и на кафедре музыковедения в Варшавском университете,— контрапункт также преподает духовное лицо. А с другой стороны, среди преподавателей Люблинского католического университета есть заведомые атеисты.

Признаюсь, я был немало удивлен, прочитав в католическом журнале благожелательные рецензии о постановках в польских театрах пьес Сартра и Брехта, по существу, антиклерикальных. Чем объяснить это неожиданное свободомыслие!

В дальнейшем я узнал и более удивительные вещи. Например, странный либерализм церкви по отношению к... растратчикам.

Я не знаю софизмов, которыми орудуют священнослужители в полутьме исповедальни, убеждая прихожан, что расхищение народного добра не грех. Вряд ли эти пастырские назидания преподносятся в примитивной форме, вроде: осени себя, раб божий, крестным знамением и запусти безгрешную руку в государственный карман. *Absolwo tel* Католическая церковь всегда умела находить для самых щекотливых положений грациозную форму.

Католицизм всегда отличался большой гибкостью. Дело не только в том, что почтенные прелаты раздражаются благожелательными парадоксами об атеистических пьесах, а молодые викаррии лихо мчатся на мотороллерах. В Кракове я видел выставку современного религиозного искусства. Она расположилась в доминиканском монастыре.

Много лет прошло с тех пор, как отцы-доминиканцы ведали инквизицией. Нынче «псы господни» (как называет себя этот монашеский орден), подоткнув сутаны, гоняют мяч по футбольному полю, а в мрачных подвалах своего монастыря устроили сногшибательный разлив модернистского искусства. Савонарола, который тоже был доминиканцем, схватился бы за голову при виде этих удлинненных Христов, которых, казалось, писала кощун-

ственная кисть постимпрессиониста Модильяни. Он, несомненно, предал бы анафеме художника-ташиста, назвавшего свой холст, испещренный грязными пятнами, «Мадонной», и, безусловно, сжег бы на костре и ваятеля, изобразившего евангелиста в виде каменной бабы, и автора скульптуры «Исповедь», представляющей из себя собрание бесформенных обручков.

Когда-то религиозное искусство создавало мировые шедевры. Сикстинская мадонна и «Троица» Рублева прекрасны своей человечностью. На выставке в доминиканском монастыре тоже можно увидеть талантливые работы и интересные поиски. Но лицо ее определяет стремление католической церкви «быть на уровне», «поспеть за модой». Пока эта гибкость не выходит за рамки искусства, она довольно безобидна. В политике она принимает формы постыдные.

Полякам памятна деятельность Карла Сплета, епископа данцигского и хелмского. В годы оккупации гибкость этого прелата дошла до того, что он запретил не только богослужение, но даже и исповеди на польском языке. Рвение этого ватиканского гитлеровца распространялось не только на живых: он приказал уничтожить польские надписи на надгробных памятниках...

Есть любопытная статистика польского вероотступничества. Оказывается, что за последние два года порвало с религией около ста духовных лиц и около четырехсот семинаристов. Среди духовенства, сбросившего сан, и монахи — францисканцы, капуцины, иезуиты. В то время, как приток поступающих в польские семинарии и монастыри с каждым годом скудеет, количество кружков научного атеизма растет и уже перевалило за полторы тысячи.

Случилось мне как-то быть в театре «Атенеум» в Варшаве. В тот вечер давали «Завещание собаки» бразильского драматурга Ариано Суассуна. Я, собственно, пришел не на спектакль.

Мне надо было в связи с моей работой повидать Януша Варминьского.

Ныне директор и худрук театра, шестнадцать лет назад он был командиром взвода в рядах варшавских повстанцев. Взвод назывался «Кампинос» — по названию Кампиносского леса, подходящего к Варшаве с севера. Отсюда крохотное подразделение Варминьского совершало свои смелые вылазки в расположения гитлеровцев. Глядя на этого мягкого человека со сдержанными манерами и тихим голосом, я с трудом представлял себе его во главе группы отчаянных смельчаков, совершивших дерзкий и успешный налет на гитлеровский аэродром в Белянах (тех самых, где сейчас ведется такое оживленное жилищное строительство). С боями группа Варминьского пробивалась на соединение с повстанцами, сражавшимися в кварталах Жолибоза (тоже район Варшавы). После подавления варшавского восстания в начале октября сорок четвертого года Варминьский продолжал борьбу с гитлеровцами в партизанских отрядах в районе Закопане.

Но хотя я пришел в «Атенеум» для сбора исторических материалов, я, конечно, не отказался от предложения ознакомиться с работой театра, тем более что на сцене его шла не так давно и моя пьеса.

«Завещание собаки» — пьеса стилизованная. Она написана в духе лубочных народных зрелищ, вроде нашего «Царя Максимилиана». Спектакль яркий, подчеркнута театральность. А Ян Матыяшкевич в роли ксендза и Бронислав Павлик в роли Шико просто превосходны. Оформление Конрада Свинарского и Эвы Старовойской, как мне показалось, не достигает уровня спектакля, так интересно поставленного К. Свинарским. В «Волшебном коне» (театр «Лялька») случай, если помните, обратный. Но и тут и там эта неслиянность всех элементов представления, разумеется, отражается на его целостности.

Теперь о пьесе. В театральной программе мы находим сведения об авторе. Замечу кстати, что польские театральные программы несколько отличаются от наших, и притом в выгодную сторону. Они дают довольно обильный литературный, исторический и графический материал о пьесе, театре, авторе.

Из программы этого спектакля мы узнаем, что Ариано Суасуна считает свою пьесу прославлением католической религии. Не знаю, что подвигнуло автора на такое странное заявление — наивность или чрезмерно развитый инстинкт самосохранения. Но с таким же основанием Боккаччо мог бы считать свой «Декамерон» апологией католицизма.

«Завещание собаки» — тонкая, умелая, остроумная, злая издевка над религией. В Испании и в Португалии эта пьеса запрещена. В самой Бразилии она вызвала со стороны церкви ярые обвинения автора в непочитании религии, в безнравственности и даже в... коммунизме.

В «Атенеуме» спектакль идет с большим успехом. Театр всегда полон. Публика смеется, часто аплодирует и всячески выражает свои восторги.

— А в воскресенье,— пояснил мне один варшавянин,— эта же самая публика наполнит костелы...

Тут же он мне указал на несколько переодетых ксендзов, которые от души хохотали, наблюдая на сцене жалкие и комические фигуры ксендза, епископа и даже самого бога, которого отлично играл Богдан Эймонт.

Несколько позже в журнале «Аргументы» я прочел, что на одной из недавних конференций польского духовенства некий высокий церковный сановник выступил со следующим признанием:

«Все мы повинны в грехе безразличия к вере. Каждый из нас охотнее читает «Доокола Свята» («Вокруг Света») и «Пше-

круй» («Мир в разрезе»), чем «Homo Dei» (религиозная литература)».

Привожу это признание потому, что страну, как и человека, правильнее судить по тому лучшему, что в них есть...

ПОЛЬСКИЕ СУДЬБЫ

Я посетил те места в Варшаве, на которые наши летчики сбрасывали повстанцам оружие и продовольствие. На стене дома № 57 по улице Хожа я увидел старые следы пуль и осколков, почетные раны Варшавы. Они не редкость здесь.

Когда много работаешь над историческим материалом, появляются как бы воспоминания о невиденном. Они иногда овладевали мной с такой силой, что, возвращаясь, например, из музея Войска Польского, где я зачитывался подпольными газетами времен оккупации, я вдруг отчетливо слышал на Краковском Предместье цокот кованых ботинок немецких солдат и дробную грескотню автоматов.

Но, разумеется, не только исторические места, а люди — и главным образом люди — интересовали меня. В Варшаве можно встретить ветеранов Нарвика и Тобрука, Монте-Кассино и Ленино. Однажды я целый вечер беседовал с поляком, сражавшимся в знаменитой битве под Арнемом [в Голландии], где осенью сорок четвертого года из-за оплошности английского командования почти целиком погибла польская парашютная бригада.

Но чаще всего, конечно, встречались мне бывшие варшавские повстанцы и партизаны из разных концов Польши. С каждым днем их становилось все больше. Люди не только охотно делились со мной боевыми воспоминаниями, но и приводили ко мне своих товарищей. Образовалась своего рода цепная реакция. Один эпизод из тех времен уместно здесь вкратце расска-

зять. Редкая особенность его в том, что среди героев его был и немец.

Янина Прох, ныне солидный экономист столичного учреждения, в годы оккупации была в партизанском отряде, в одном из так называемых хлопских, то есть крестьянских, батальонов. Ей, тогда совсем юной, случилось участвовать в ликвидации гестаповского палача. После успешно проведенной операции она укрылась от преследователей в полуразрушенном сарае. Целый день она сидела там, не смея выйти. Вечером вдруг кто-то вошел. Янина, к ужасу своему, увидела немецкого офицера — высокий, седоватый, лицо нестарое. Слегка склонив голову, он смотрел на нее. Она вскинула пистолет. Она решила: первую пулю в него, вторую в себя. Он в это время сказал:

— Бедный ребенок...

Что-то в его голосе было такое, что удержало ее от выстрела. Немец выглянул на улицу и поманил Янину. Они вышли. Улица была пуста. Он привел ее к месту, где стояло много больших ящиков, и сказал, чтобы она влезла в ящик и ждала его. Она так и сделала. Он поставил на нее еще несколько ящиков и ушел. Она ничего не понимала. Но у нее не было другого выхода. Она только успела заметить, что он не эсэсовец, потому что эсэсовцы носят один погон, а на этом немце было два с голубой окантовкой автотранспортной службы. Она просидела в ящике, наверно, часа два.

Ночью подъехала машина. Стали грузить ящики. По голосу она узнала, что ее ящик несет тот самый офицер. Ему помогал солдат, которого офицер называл «Ганс». А Ганс его — «господин капитан».

Часа полтора она тряслась в машине, по-прежнему сидя в ящике. Наконец машина остановилась. В ящик постучали, она услышала голос капитана: «Выходи! Скорее!»

Она быстро вылезла. В темноте смутно чернела спина капи-

тана. Он не оглянулся. Она прыгнула с машины и в нерешительности остановилась. Капитан крикнул: «Беги прямо! Там лес!» Все это было так удивительно, что она не удержалась и спросила: «Вы немец!» Он сердито засопел и сказал: «Я немец больше, чем все они, вместе взятые». Потом: «Ганс, поехали!» Машина покатила. А Янина побежала в лес и на следующий день нашла своих.

Этот эпизод имел неожиданное продолжение, которое разыгралось на моих глазах. Позже я расскажу об этом. Вообще же я слышал здесь много удивительных историй. Собрать их — получилась бы потрясающая летопись польского героизма. Поляки, особенно варшавяне, обременены грузом пережитого. Каждый шаг здесь будит прошлое.

Нельзя судить о современной Польше, не вникая в ее исторические судьбы. Люди с трудом отказываются от вульгарных, но привычных определений национального характера, вроде: «пылкие испанцы», «флегматичные голландцы», «мечтательные русские» и пр. Александр Блок в замечательной поэме своей «Возмездие» (кстати, в черновиках она имела подзаголовок «Варшавская поэма») писал:

...все, что губернатор скажет,
Есть серый непроглядный мрак,
И кукиш из кармана кажет
Ему озлобленный поляк...

Вряд ли эта типично швейковская форма политического протеста характерна для поляков. Не кукиш поляк вытаскивал из кармана, а кинжал. Не в обывателях воплотилась душа польского народа, а в революционерах.

— Мы иногда задавали себе вопрос,— сказал мне один польский литератор,— почему в некоторых произведениях русской литературы поляки выведены в таком неприглядном свете!

Скажем, у Достоевского. Мы пришли к убеждению: это оттого, что в поле зрения этих писателей попадали неудачные представители польского народа.

— Конечно,— согласился я.— Пушкин презирал Булгарина не за то, что он поляк, а за то, что он гад, продажная душа, доносчик. Что касается Достоевского, то, к сожалению, он, как известно, бывал не свободен от шовинистических настроений.

А вот еще разговор с другим польским литератором, вернувшимся из Советского Союза, где он побывал впервые. Он посетил Ленинград и там узнал о жертвах блокады. Он говорил мне с явным волнением:

— Мы думали, что страдания поляков не сравнимы ни с чем. Но мы, например, никогда не испытывали ужасов голода, если не считать короткого времени варшавского восстания. Почему же о ваших страданиях так мало известно?

— Мы об этом мало говорим,— сказал я сдержанно.

— Почему!

— Да так... Просто это как-то не в нашем характере.

Жертвы ленинградской обороны были огромны. Но не напрасны.

Жертвы варшавского восстания были огромны: двадцать тысяч убитых повстанцев и почти двести тысяч павших среди гражданского населения. Варшавское восстание — героический подвиг польского народа. Это единственная из оккупированных европейских столиц, которая восстала против фашистов и держалась свыше двух месяцев. Варшавское восстание отличает его всеобщность, массовость, народность, при том, разумеется, что у рядовых участников восстания и у политиканов, руководивших им, цели не совпадали.

Все это вспомнилось мне, когда через несколько дней я осматривал музей в Кракове. Среди драгоценных экспонатов (достаточно сказать, что там хранятся шедевры Леонардо да Вин-

чи и Рембрандта] я увидел в застекленном стенде кусок заплесневелого сухаря. Из пояснительной надписи явствовало, что этот сухарь грыз Наполеон на острове св. Елены. При виде этого огрызка я вспомнил, сколько напрасных жертв поляки принесли Наполеону, который всю жизнь точил из них кровь и всю жизнь обманывал их.

Пусть историки скажут, стоит ли урон, который варшавское восстание нанесло немецкой армии, тех неисчислимых жертв, которых оно стоило самим полякам.

Но даже и тщетность подвига не лишает его величия.

ВЫРОСЛИ ВНУКИ

В одно из воскресений я отправился на поиски Юзефа Грабарка, старого рабочего, у которого я остановился в первую ночь освобожденной Варшавы.

Название улицы за пятнадцать лет безнадежно выветрилось из моей памяти. Помнится, было это где-то за площадью Трех Крестов. Хорошо помню деревянные массивные красные ворота. Рядом был разбомбленный дом, от которого оставался один первый этаж. [Когда я в том же году снова проездом был в Варшаве, в этот обломок дома уже внедрился какой-то предприимчивый лавочник.]

По мере того, как я углублялся в переплетение улиц за площадью Трех Крестов, все более вставали в памяти подробности той особенной ночи. Юзеф Грабарек был первый увиденный мной участник варшавского восстания. Он был бойцом Армии Людовой. А вместе с ним и внучек его, Стасик. Много варшавских ребят работали связными в повстанческих частях. В подражание взрослым повстанцам они присвоили себе конспиративные клички. Кличка Стасика звучала несколько пышно для его двенадцати лет: капитан Немо. Мальчуган обижался, когда хлопцы

в отряде называли его фамильярно: Немек. Это был горячий парнишка, он все рвался в бой, и дедушка, дрожавший за его жизнь, осаживал его командным окриком: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!» Стасик, обожавший, как и все мальчики, военный ритуал, немедленно повиновался.

Вспомнилось мне и то, как Грабарек вытащил из мешка толстую рукопись и со значительным видом протянул мне. На обложке, сделанной из куска желтых обоев, было написано по-польски: «История Всесоюзной Коммунистической партии [большевиков]. Краткий курс».

Я листал этот диковинный манускрипт, а Грабарек, наслаждаясь моим удивлением, говорил:

— Переписано еще до восстания, в подполье. Издавать же мы не могли. Знаем, история эта неполная, может, и не во всем точная. Да лучшей не было. А, знаете, у ребят все же большая охота узнать, как же простой народ дрался и победил.

Рукопись была истрепанная,— видно, прошла через много рук. Некоторые страницы были подклеены обрывками почтовых марок, поверх которых старательно восстановлены заклеенные буквы.

Помню, внимание мое остановили несколько строк, обведенных красным карандашом. Там говорилось, что в 1905 году рабочие Лодзи дрались с царскими солдатами и что Ленин считал эти бои первым вооруженным выступлением рабочих в России. Я посмотрел на Грабарека. Он улыбнулся и тронул старый шрам на своей щеке.

— Дядку,— вдруг сказал мальчик,— а сколько ж тебе тогда было!

— Да побольше, чем тебе сейчас,— ответил дед.— Отцу твоему уже стукнуло тогда два года...

...Я сразу узнал старый дом с деревянными трехстворчатыми воротами. Даже сердце екнуло. Место несколько изменилось. Ря-

дом, где была разбомбленная руина с лавочником,— новое четырехэтажное здание. Но старый дом несколько не изменился. Даже вмятины от осколков по-прежнему зияли на фасаде.

Волнуясь, я поднялся на второй этаж и позвонил.

Пожилая женщина в переднике, открывшая мне дверь, в ответ на мой вопрос грустно покачала головой:

— Он умер два года назад...

Умер... Почему-то это предположение ни разу не пришло мне в голову. А ведь Грабареху было бы сейчас под восемьдесят. Но в нём было столько жизненной силы...

— А мальчик!

— Какой мальчик! — удивилась женщина.

— Внук его.

Она всплеснула руками. На левой руке возле локтя я заметил вытатуированный номер — след пребывания в освенцимском аду.

— Боже милый, какой же он мальчик! — сказала она. — Я могу дать вам адрес пана Станислава.

В тот же день я увидел его.

— Я бы вас сразу узнал, — заявил он мне.

— А я бы вас не узнал, капитан Немо, — сказал я.

Мы рассмеялись. Все же какие-то черты варшавского сорванца еще сохранились в этом высоком, статном мужчине.

— Значит, вы строите Варшаву!

— Да, — подтвердил он. — А она — нас.

Он рассказал мне, что сейчас на некоторых предприятиях уже нет рабочих с образованием ниже семи классов. И вообще, крупнейшие индустриальные центры Польши сами становятся мощными узлами просвещения.

Он сообщил мне цифры, которые поразили меня.

— Вы знаете, сколько сейчас в Польше инженеров!

— Сколько!

— Сто тысяч!

— А было!

— В сорок пятом году семь тысяч.

— Это точно! — усомнился я.

— Слушайте! — взволновался Станислав. — За годы оккупации в Польше погибло около семисот профессоров и работников высшей школы и около пяти тысяч учителей средней школы. — Он продолжал, распаясь: — А вы учитываете, что за те же шесть лет у нас не появилось ни одного квалифицированного работника ни в одной области знания!

— Я записываю: сегодня сто тысяч инженеров.

— И добавьте, что девяносто процентов из них получили образование в народной Польше и что доброй половине этих инженеров еще нет тридцати трех лет и что нам еще тысяч десять не хватает.

— Неужели не хватает!

— Чему вы удивляетесь? Вы видели наши новые верфи? Нет! Жаль.

— Почему!

— Потому что сухопутная Польша по судостроению сейчас опередила Англию. Да, да! И вышла на шестое место в мире.

— Здорово!

— Вот вы поедите по Польше, увидите, как тихие провинциальные местечки становятся крупными индустриальными центрами.

— Где, например!

— Где? Пожалуйста. Сандокеж знаете!

— Еще бы! Помню Сандомирский плацдарм. Помню этот прелестный романтический городок.

— Так возле этого романтического городка вырастает огромный серный комбинат. А в Турошове — это на западе — строят мощные электростанции, потому что там поистине гигантские за-

лежи бурого угля. Ну, говорю вам, возникают просто новые промышленные округа.

— А как обстоит дело с гуманитарной интеллигенцией!

— Учителей не хватает. В общем, я считаю, что новая польская интеллигенция — это главным образом техническая. И это к лучшему.

— Ох, нет вашего дедушки, чтобы он скомандовал вам, как тогда: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!»

Молодой инженер рассмеялся, но не отступал. Я увидел в нем черты некоторой технической заносчивости, признаки которой изредка вспыхивают и у нас в Советском Союзе. Вспомните спор «физиков и лириков».

Оказалось, что Грабарек наслышан и об этом. И даже, узнав о моих планах, осведомился с лихостью бывшего варшавского «гавроша», не согласен ли я, что мы присутствуем при отмирании жанра романа.

Я ответил, что под влиянием поразительных научных и технических успехов нашей эпохи действительно время от времени возникают насочки на искусство. Попытка технократически настроенных инженеров противопоставить науку искусству так же нелепа, как попытка эстетствующих литераторов противопоставить искусству политику. В обоих случаях сказывается стремление, иногда неосознанное, оторвать искусство от жизни.

Что же касается гибели романа, то это скудное соображение родилось, надо полагать, в деловых бюро бизнесменов, которым просто некогда читать книги. Роман не менее гениальное изобретение человечества, чем расщепленный атом.

— А что касается популярности этого жанра, то вот вам лучшее доказательство...

И я указал на лежавший на диване раскрытый роман Казимежа Брандыса «Непокоренный город».

Грабарек рассмеялся и махнул рукой в знак того, что попался.

Потом мы перешли на воспоминания. Станислав извлек из письменного стола старые газеты, листовки, фотографии, нарукавный знак с буквами А. Л. [Армия Людова]. Среди этих реликвий была истрепанная рукопись.

— Все собираюсь сдать ее в музей...

— В музей истории Варшавы?

— Пожалуй, нет... Знаю, что сейчас есть новая, более полная и совершенная история партии... Знаю, что в старой есть ошибки и умолчания и культ личности... А все же и она помогла нам драться. В музее Войска Польского есть зал, где выставлено оружие повстанцев. Думаю, что там для нее подходящее место...

Вскоре после этой встречи мне случилось познакомиться с небольшой группой молодых инженеров. Это произошло в Сверке, польском атомном центре. Если по одному подразделению можно судить о духе всей армии, то следует сказать, что молодые польские инженеры — это армия энтузиастов.

Атомный котел, он же реактор, велик, как дом. Он стоит посреди огромного зала, щедро залитого дневным светом. Мы взобрались на крышу реактора по трапам и мостикам, придававшим ему сходство с кораблем.

Странное это было чувство — сознавать, что под твоими ногами происходит расщепление первозданной материи, из которой и ты сам сделан. К этому примешивалось сознание, что достаточно нейтронам вырваться из адских недр этого котла и, пробившись сквозь бетонную защиту, вспрыгнуть на тебя, как ты из высокоорганизованного существа с мыслями, страстями, надеждами, семьей, паспортом обратишься в хаотическую пляску радиоактивных изотопов.

Но дозиметры утешительно молчали, покоясь в карманчиках наших белых халатов.

Реактор показался большим только нам, профанам, Началь-

ник его эксплуатации Ежи Александрович, молодой, сохраняющий восторженное отношение к своему делу инженер, рассказал нам, что этот реактор уже не покрывает запросы промышленности и медицины. Расщепленный атом стал так же необходим в современной индустрии, как вода, газ, электричество.

Мал этот реактор и по сравнению с масштабами научных работ. У его выводящих каналов образовалась своего рода очередь физиков, которые, фигурально выражаясь, дерутся за место у атома, как прохожие в часы «пик» на трамвайной остановке.

Скоро приступят к постройке еще большего реактора, на этот раз по польским проектам и из польских материалов (этот создан советскими специалистами).

Мы осмотрели пульт управления, спектрометр нейтронов, подземные переходы, похожие на отсеки подводной лодки, научные кабинеты, чью деловую сухость смягчают цветы и гравюры, подобранные с хорошим вкусом. Мы долго наблюдали умную работу механических рук роботов, манипулирующих там, куда человеку нет доступа.

Потом мы вышли наружу. Ветер едва не сбил нас с ног. Налетела буря. Она гнула, как хлыстики, высокие ели, от которых это место и получило свое имя «сверк» — по-польски «ель». В низком небе ходили тяжелые иссиня-серые тучи. Вдруг блеснула разлапистая молния, и почти без паузы — пушечный удар грома.

Я услышал, как спутник мой, молодой историк, прошептал: — А все-таки у природы есть власть над человеком...

Сказать так в двух шагах от реактора, где человек взял в упряжку самые сокровенные силы природы!..

— Только поэтическая! — сказал я.

Историк улыбнулся моему возмущению.

— Именно это я и думал, — мягко ответил он.

Опять! Опять я обидел его. В первый раз это случилось, когда я спросил его, верующий ли он. Он долго не мог успоко-

иться и все посматривал на меня недоуменно и даже огорченно: как это я мог заподозрить его в подобном!

Он ровесник инженера Грабарека и несколько моложе инженера Александровича. Они чужие друг другу, и все же их объединяет какое-то родство. Нет, не молодость. Чем больше знакомился я в Польше с поколением выросших внуков, тем более убеждался в существовании у них того, что можно назвать чертами социалистического сознания.

Юлиан Маслянка и Валерий Писарек — работники Дома культуры, один заместитель директора, другой заведующий художественным отделом. Своим процветанием этот интересный клуб, весьма популярный в Новой Хуте благодаря своей содержательной, разносторонней деятельности, в немалой мере обязан энтузиазму этих двух молодых людей.

Окончив краковский Ягеллонский университет по факультету польской филологии, они пошли работать в самую гущу рабочего класса (так же, между прочим, как и коллектив местного театра, о котором я расскажу дальше).

Писарек сумел организовать среди новохутинского пролетариата широкий и увлекательный конкурс на лучшее описание жизни в этом новорожденном рабочем городе. Юлиан Маслянка совмещает с активной клубной работой серьезные научные занятия. Они, кстати сказать, окрашены явным интересом к русской литературе.

Несколько лет назад Маслянка опубликовал и прокомментировал найденное им в государственном архиве в Вавеле неизвестное дотоле письмо Пушкина. А сейчас он увлечен работой над биографией известного славянского этнографа и фольклориста прошлого столетия Ходаковского, которого, между прочим, весьма ценил Гоголь (см. его письмо к Максимовичу: «...Я очень порадовался, услышав от вас о большом присовокуплении песен из собрания Ходаковского»). А Пушкин увековечил его в строфе:

Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине.

А вообще об интересе к русской культуре напоминает довольно выразительная цифра: за время существования народной Польши там было издано 123 с половиной миллиона экземпляров книг русской, в том числе советской, литературы. Для общего же роста просвещения в современной Польше характерно такое сопоставление: в 1950 году населением было куплено 49,5 миллиона книг, в 1959 году — 80,2 миллиона книг.

Я вспоминал пылкие речи инженера Грабарека о высшем образовании и заинтересовался: сколько же было студентов в довоенной Польше! Вот цифра: 48 тысяч. И это тогда считалось непозволительной роскошью для такой бедной страны, как буржуазная Польша. Газеты вопили о «перепроизводстве интеллигенции».

Сразу же после освобождения распахнулись двери университетов и институтов. Лекции читали немногие уцелевшие профессора в полуразрушенных помещениях при свете огарков. Но тогда уже, в сорок пятом году, было 35 тысяч студентов. Сейчас же в народной Польше около 200 тысяч студентов.

Принято говорить, что молодежь — это наше будущее. Но почему только будущее! Почему не настоящее! Особенно в стране с таким высоким процентом молодых возрастов, как Польша! Из тридцати миллионов поляков 10 миллионов родились и выросли в народной Польше и еще 10 миллионов родились перед войной или во время войны.

Нет, не новый позитивизм, вопреки уверениям Тадеуша, характерен для молодых поколений в Польше; а скорее новый романтизм. Это не значит, что не народилось и новое мещанство. Они живучи, эти мещанские навыки. Все это: безыдейность, ре-

лигиозный фанатизм, крестьянская ограниченность, жажда наживы, провинциальный снобизм — сгорает на огромном костре новых социалистических отношений. Но, сгорая, все еще чадит, чадит...

Процесс этот, разумеется, протекает не только в Польше. Но здесь я его почувствовал с особенной отчетливостью, может быть, благодаря некоторым особенностям национального характера. Не раз отмечалось, что поляк не знает середины. И не только в увлечениях своих. Самая природа его есть якобы воплощение крайностей: уж если поляк темен, то это не сумерки, а ночь, а если светел, то это такое сияние, такая прелесть, такая чистота!

Так ли это!

Воздержимся от лапидарных характеристик. Какая смелость воображать, что все разнообразие народной души можно вместить в несколько слов! Однако есть такие тенденции в развитии народного характера, которые не могут ускользнуть от взгляда внимательного наблюдателя.

Я не считаю себя особенно везучим. Но уж если мне на моем недолгом пути в Польше встретилось столько людей такого высокого идейного и морального обаяния, значит, немало их в Польше. И это не просто хорошие люди. Это новые люди. Это люди с чертами нового, социалистического сознания. Это, если хотите, групповой портрет поколения.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ

Вавель, этот польский Версаль, раскинувшийся в центре Кракова, в сущности, музей в музее. Ибо и сам Краков с его Мариацим собором о двух разновеликих куполах, с его Сукеницами — древними торговыми рядами, с его темной громадой средневековой ратуши и выпуклой массивностью старинных крепостных стен похож на гигантский музей.

Все это застывшее средневековое окружает площадь Главного Рынка. Она необыкновенно жизнерадостна, вероятно, потому, что на ней полно голубей и цветов. И автомобилей.

Я не зря упомянул их рядом. Они антагонисты. Цветы здесь продают с незапамятных времен. Много веков поколение за поколением сидят здесь цветочницы под своими большими, как у художников, зонтиками. Это деталь, но она сообщает ритму Кракова какую-то спокойную устойчивость.

Но вот появились автомобили. Они заявили — убрать цветы, они нам мешают.

Когда городская рада постановила перевести краковских цветочниц в другое место, потому что они мешают уличному движению, краковчане взволновались и ринулись к своему земляку. Слава всевышнему, он кое-что значит в Польше, все-таки как-никак премьер-министр Иозеф Циранкевич.

Цветы остались на месте.

Вавель грандиозен. С прошлого года вновь высится в нем памятник Костюшке, уничтоженный двадцать лет назад гитлеровским наместником Гансом Франком. Новый памятник — дар городу Кракову от города Дрездена.

Величественны дворцовые залы Вавеля с прославленными гобеленами. Но есть среди этих великолепий одна деталь, которая действует если и не сильнее, то острее и больше всего. Вы узнаете о ней в живописном Зале Флагов, где свисают с потолка победоносные знамена Грюнвальдского сражения.

Здесь в годы оккупации Ганс Франк устроил свой домашний кинозал. Знамена выкинул, в стене пробил дырку, сзади приладил будку, спереди — экран. Вероятно, в кровавой биографии Франка, организатора Освенцима, Майданека и Тремблинки, это выглядит как мелкое хулиганство. Но иная мелочь с силой прожектора высвечивает облик человека. Я явственно представил себе этого интеллигентного хама, этого кровавого прохвоста, ко-

торый развалился в кресле посреди изуродованного и оскверненного им зала польской славы.

По случайному совпадению я увидел Франка — уже не мысленно, а воочию — в тот же день. В кинотеатре «Штука» показывали фильм «Нюрнбергский процесс». Фильм поставлен в Федеративной Германии. Это уже не первое усилие деятелей ФРГ отгородиться от военных преступников третьего рейха.

Зрители [зал был полон] в мрачном молчании смотрели столь знакомые многим из них сцены жестокости и цинизма фашистов. Я бы не сказал, что этих эпизодов так уж много в фильме. Пожалуй, их меньше, чем кадров, изображающих моменты казни властителей гитлеровской империи. Причем эти кадры поданы так пространно и с такими физиологическими подробностями, что невольно зарождается мысль: а не смонтирован ли фильм «Нюрнбергский процесс» с расчетом заронить в зрителях чувство жалости и протеста против Нюрнбергского процесса!

Однако не слишком ли часто в Польше вспоминаются эти мрачные картины прошлого! Что поделаешь, такова польская земля, тут на каждом шагу встают видения войны...

Пятнадцать минут езды трамваем, и вы переноситесь из старинной столицы в самый юный польский город — в Нову Хуту.

Одиннадцать лет назад было принято решение построить гигантский металлургический комбинат. Встал вопрос: где!

Первоначально место было найдено в Силезии, в районе Дзержна, у Гливицкого канала. Это облегчило бы строительство — район промышленный, уголь, кокс, электроэнергия, вода — все рядом.

Но в строительстве Новой Хуты, как и в строительстве Варшавы, польский народ и партия пошли по линии наибольшего сопротивления. И победили.

Нову Хуту построили на месте бедных подкраковских деревенек, лишенных электричества и дорог, «За» были только рав-

нинные просторы этих мест да наличие рабочей силы, ибо перенаселенность этих деревенок уже становилась беспокоящей проблемой.

Но независимо от этих соображений мне кажется, что это была удачная идея: поставить под древними крепостными стенами Кракова с его живучими религиозными традициями и музейной психологией мощный индустриальный центр, населенный передовой пролетарской молодежью.

Так в десяти километрах от резиденции польских королей на месте нищей деревни с символическим названием Могила возникло это огромное сияющее поселение нового типа. Возведение Новой Хуты можно приравнять к восстановлению Варшавы. Это второй мирный подвиг народной Польши.

Административно Нова Хута — один из районов Кракова. Но, по существу, это самостоятельный город со стотысячным населением, со своим крупным бюджетом, своими нравами, укладом, интересами, со своей короткой, но бурной историей. Его улицы не похожи на улицы Кракова, его театр не похож на театры Кракова, и, я смею думать, его люди несколько отличны от людей Кракова.

Здесь все просторно, громадно, залито светом: дома, улицы, магазины, школы, клубы. Юлиан Маслянка считает, что Нова Хута — это исполнение пророчества Стефана Жеромского, писавшего полвека назад:

«...Старые города, эти страшные кошмары старой цивилизации, сгинут... появятся новые города-сады среди полей, лесов...»

Действительно, леса и поля вплотную обнимают этот юный город, где уже сейчас около полутора гектаров занято садами, парками, уличными посадками.

И здесь, разумеется, кипели архитектурные страсти. И здесь строители экспериментировали в поисках стиля нашего времени. И здесь некоторое время торжествовали реставраторские тен-

денции. Но так как Нова Хута начала строиться в 1950 году, то напыщенный стиль ресторанный ампира здесь царствовал недолго. Архансты успели поставить лишь несколько захолустных «палаццо дождей» с аркадами и колоннадами. Преобладают же здесь чистые и светлые очертания новой архитектуры. Вдруг начинает казаться, что ты идешь не по Аллее Роз в Нозой Хуте, а по проспекту Вернадского в Москве.

Город строится комплексами. Каждый такой комплекс-поселок населяет от двух до пяти тысяч жителей. И в каждом своя школа, детсад, ясли, поликлиника, ресторан, магазины, почта. В последнее время появляются дома, облицованные цветной штукатуркой. Желтые и коричневые балконы, широкие темно- и светло-зеленые полосы на фасадах, голубые торцы создают зрелище, полное радостного покоя.

Ощущение необычности Новой Хуты рождается у поляков от сопоставления ее не только со старыми подзинскими и жирардовскими рабочими поселками — скученными собраниями хибарок и унылых казарм, — но и от соседства дворцово-музейного Кракова.

Хочу тут же оговориться. Было бы ошибкой воображать Краков сплошь средневековой игрушкой. Здесь не только восхищаются знаменитыми деревянными скульптурами алтаря Вита Ствоша, благоговейно немеют перед гробницами Мицкевича и Словацкого и восторженно ахают при виде турнирного двора в Вавеле, точно слетевшего с иллюстраций к романам Вальтера Скотта. Здесь также строят современные сельскохозяйственные машины, производят химикалии, кожаные изделия, пищевые продукты. Но при всем том традиции старопольские (так и хочется сказать — старосветские) и отпечаток религиозности здесь явственнее, чем в другом любом месте Польши, чем даже в Ченстохове.

Не могу при этом не поделиться одним наблюдением. Поляки

дивятся Новой Хуте гораздо больше, чем мы, советские люди. Ибо, на наш взгляд, Нова Хута выглядит как раз так, как и должен выглядеть всякий новый город. И у нас они именно так и выглядят. А как же иначе! Не строить же в самом деле рабочий клуб в виде Мариацкого собора да развешивать в мартеновском цехе arrasские гобелены!

Гораздо более разительные контрасты мы открываем внутри самой Новой Хуты. В этом городе, населенном вчерашними крестьянами, только сейчас ликвидирующими свою неграмотность, играет самый левый, самый утонченный театр Польши. А в иных из этих блистательных многоэтажных домов с лифтами, центральным отоплением, мусоропроводами еще недавно наблюдался кое-где крестьянский, избяной быт. В коридорах держали кур, а то и поросенка, а в ванке — картофель.

Рабочих на комбинат набирали из местных крестьян.

...Ленину были знакомы эти места. Он жил в Кракове с июля 1912 года по август 1914 года.

Первоначально Владимир Ильич с женой и ее матерью поселился на рабочей окраине в доме № 218 по Зверинецкой улице. Надежда Константиновна в записках своих хвалит живописный вид на Вислу и Вольский лес.

На велосипеде в спортивном костюме и кепке Ленин совершал дальние прогулки. Он наблюдал нищую жизнь этих отсталых подкраковских деревенок, заходил в покосившиеся хаты, крытые гнилой соломой, разговаривал с людьми.

«В Восточной Европе [Австрия, Балканы, Россия],— писал он тогда,— до сих пор не устранены еще могучие остатки средневековья, страшно задерживающие общественное развитие и рост пролетариата...»

Быт складывался веками. Голод, гнет, неуверенность в завтрашнем дне, недоверие к городу формировали душу польского хлопа. Ныне удивляешься не тому, что он втянул из нищей хаты

своей в городскую квартиру «могучие остатки средневековья», а тому, что сейчас он так быстро избавляется от них.

Главный деятель этих перемен — Новохутинский комбинат. О масштабах его можно судить по тому, что уже сейчас он один производит столько стали, сколько производили все предприятия буржуазной Польши, вместе взятые. А ведь ему еще расти и расти. Но значение комбината не только в этом. Подобно тому, как его теплоцентраль разливает тепло не только на своей территории, но и по жилам всей Новой Хуты, так этот металлургический колосс излучает в рабочие массы просвещение и культуру и мощно преобразует сознание людей и их жизненный уклад.

Вот он высится перед нами — крутые уступы заводских корпусов, стеклянные крыши цехов, цветные султаны дыма над мартеновскими трубами, ажурные руки гигантских кранов — могучий индустриальный пейзаж. Сопровождающий нас ассистент директора магистр Р. Питух обращает наше внимание на три огромные домны.

— Самые большие в Европе, — говорит он с гордостью.

Заметив удивление на моем лице, он поправляет себя:

— К западу от Днепра...

Мы вошли в цех. Стоим высоко на мостике, наблюдаем работу блюминга. Железные руки манипуляторов ворочают грузный раскаленный слиток, гонят его в объятия обжимных валов, откуда он, пыхая искрами, выходит похудевший и выросший.

Блюминг велик, как мамонт. Это — наиболее мощное орудие современной металлургии. Это не одна машина, а целый оркестр механизмов. Я вгляделся в фабричную марку, вытисненную на станине.

Магистр Питух кивнул головой:

— Да, блюминг из Советского Союза.

Он добавил:

— Интересно, откуда когда-то вы получили свой первый блюминг!

Надо же быть такому совпадению! Я присутствовал при рождении первого советского блюминга. И хотя с тех пор прошло тридцать лет и за эти бурные годы я повидал многое, явление на свет божий в тесных цехах Ижорского завода нашего первого блюминга осталось среди самых ярких моих воспоминаний.

В тридцатые годы, в эпоху индустриализации, решено было установить у нас на заводах блюминги. ВСНХ обратился к известной американской машиностроительной фирме МЕСТА.

Фирма эта заломила ошеломляющую цифру — восемь с половиной миллионов долларов.

— Это вовсе не так много, — уверял представитель фирмы. — За самый блюминг мы просим всего полтора миллиона долларов.

Но дело в том, что отдельно блюминг МЕСТА не продавала. Она вынуждала брать к нему огромный набор предметов, легко изготовлявшихся в Советском Союзе, — подъемные краны, чугунные котлы, даже... обыкновенный кирпич.

Мы прервали переговоры с заокеанскими спекулянтами.

Однако блюминги были нужны.

Решили тогда приобрести за границей не блюминг, а только чертежи к нему. Обратились на этот раз к германской фирме ДЕМАГ. В фирме много иронизировали над чудаками, которые надеялись сами выстроить блюминг. Блюминг! И кто!! Советская Россия, получившая в наследство устарелую промышленность, к тому же разрушенную мировой и гражданской войнами!

Но в конце концов каждый волен проматывать свое состояние, как ему заблагорассудится. Дело продавца — продавать.

И фирма ДЕМАГ согласилась продать чертежи. Но заломила за них цену, мало отличавшуюся от фантастической американской.

Мы во второй раз прервали переговоры. Фирма вежливо осведомилась: как же мы намерены поступить!

Наш ответ гласил: сами спроектируем и сами построим.

Ответ этот передавали в германских технических кругах как анекдот.

Через девять месяцев на старом Ижорском заводе, существовавшем еще с петровских времен, родился первый советский блюминг. Вслед за ним второй и третий.

Все это я рассказал в нескольких словах, опустив подробности этого поистине героического подвига ижорских рабочих и инженеров. Но этот рассказ прозвучал выразительно под стенами Новохутинского комбината, спроектированного в СССР Гипрометом. Не только блюминг, большинство агрегатов поставлены Советским Союзом. Наши специалисты налаживали пуск производства. И все это в порядке братского сотрудничества социалистических стран. Нужна ли лучшая иллюстрация для характеристики воцаряющихся в мире новых человеческих отношений!

ОТСТАЛАЯ ФАНТАСТИКА И ПЕРЕДОВАЯ СТАРИНА

Всякий, кто узнавал в Варшаве, что я еду в Нову Хуту, говорил мне:

— Обязательно сходите в театр Скушанки.

Так называют по имени художественной руководительницы Народный театр Новой Хуты.

Я посмотрел там пьесу Н. Алони «Самый жестокий из всех — царь». Восстание народных масс против жестокого и преступного угнетателя — сюжет пьесы. Никакие потери, как бы тяжки они ни были, не должны утратить борцов за освобождение народа — вот идея и пафос пьесы. Это с особой пронзительностью звучит на польской земле, где у всех в памяти (а у многих и в биографии) муки и героизм борьбы против фашистской тирании.

Автор относит действие пьесы к библейским временам. Сле-

дую Шекспиру, он заключает современную политическую тему в оболочку исторической хроники. Но иногда Алони, писатель, по-видимому, талантливый, просто копирует своего великого учителя вплоть до того, что центральный монолог Иероваома является, в сущности, вариантом известного монолога Марка Антония в трагедии «Юлий Цезарь».

Наслышавшись разговоров об эксцентризме этого театра, я ожидал увидеть кричащее, пестрое зрелище. Постановщик Кристина Скушанка проявила хороший вкус и понимание существа пьесы, придав спектаклю сдержанные, матовые тона. Актеры играют, почти не повышая голоса, движения их словно замедленны. И тем не менее вы чувствуете, что это затишье предгрозовое, вы все время находитесь в предвкушении бури. И она разражается. И потрясает с тем большей силой, что ей предшествовала тишина.

Ритм спектакля и состоит из смены длительных предгрозовых затиший и мгновенных бурь.

В некоторых деталях спектакля чувствуется полемичность. Может быть, в основе ее здоровый протест против окостенения театральных форм. Все же этот ход «от противного» делает иные мизансцены слишком балетными, почти акробатическими. Было бы очень досадно, если бы «полемичность» втянула театр в скучную «левизну». Ибо есть не только шаблон натурализма, но и банальность «новаторства». В этом спектакле увлечения театра не принимают крайнюю форму, и он волнует своей человечностью и идейностью. Насколько я понял, театру дорого признание не изысканных столичных театралов, а зрителя Новой Хуты.

— Пять лет работает театр в Новой Хуте,— сказала К. Скушанка,— и все пять лет не прекращается спор: следует ли ему здесь играть!

Но, кажется, этот вопрос уже решил зритель.

— Нас пугали,— рассказывают Скушанка и режиссер Ежи

Красовский,— тем, что рабочий зритель нас не поймет, что надо его постепенно приучать к искусству. Мы отвергли эти опасения. Мы не считали возможным под предлогом «облегчения восприятия» давать зрителю сначала четверть порции искусства, потом полпорции и т. д. Мы сразу погрузили его в полноценное современное искусство. И это был, по нашему мнению, правильный путь.

Действительно, когда видишь, с каким увлечением принимает спектакль рабочая аудитория, убеждаешься, что театр Новой Хуты недаром называется Народным.

Несмотря на то что театру этому всего пять лет, он уже стал известен и за пределами Польши. На фестивале в Венеции он приобрел международную репутацию. Гастроли его во Франции и Италии прошли с крупным успехом. Театр, как нам сказали, мечтает показать свое искусство советскому зрителю. Желание это тем более сильно, что театр признает свои генетические связи с истоками советского театрального искусства.

В те же дни мы смотрели пьесу М. Проминьского «Ракета Молния» в краковском «Старом Театре». Нам говорили, что пьеса эта не то научно-фантастическая, не то политический памфлет, действие происходит в будущем, словом, заманчиво. Действительно, в пьесе есть и то, и другое, и третье. Бандиту, приговоренному в США к казни на электрическом стуле, предлагают совершить рискованный полет в космос. В пьесе есть выигрышная ситуация, когда бандит, улетев на ракете в межпланетное пространство, оттуда с космической трибуны гремит на весь земной шар речами, полными издевки и обличительного яда. Но, к сожалению, густой налет сентиментальности и тривиальные любовные решения мешают этому спектаклю достигнуть необходимой силы выразительности. Пустующий зрительный зал был следствием этого.

Таковы эти два спектакля. В древнем Кракове — ультрасовре-

менное зрелище с ракетами и космическими полетами. А в юной Новой Хуте — ветхозаветная притча с библейскими персонажами.

Но каким архаическим выглядит это краковское космическое действо! И какой передовой и злободневной кажется новохутинская старинная легенда! Вот оно, чудо искусства!

Через некоторое время я смотрел в новохутинском театре пьесу современную и притом — что было особенно приятно — советскую. То была сатирическая сказка Евгения Шварца «Дракон». В этой поэтической и умной пьесе гнев сатирика обрушивается на фашистскую диктатуру.

Я вновь увидел живописное театральное зрелище, острый и четкий режиссерский рисунок. Однако постановка эта [режиссер Ежи Красовский] показалась мне более робкой, чем спектакль «Самый жестокий из всех — царь». Быть может, поэтому, а может быть, из-за чрезмерного обилия эксцентрических положений злое и меткое произведение Евг. Шварца выглядело скорее фарсом, чем сатирой.

И все же я покидал этот интересный молодой театр с тем волнующим чувством, какое всегда возникает при встрече с настоящим искусством.

В ГОРАХ

Мы ехали по шоссе безукоризненной гладкости, несколько узкому, на наш взгляд. Местами оно было аккуратно залатано.

Воскресный день. Дорога многолюдна, как городская улица в часы «пик». То рядом, то отставая, то обгоняя нас, катили машины, набитые палатками и удочками, туристские автобусы с надписями «Будапешт», «Вена», «Киев», мотоциклисты с женами, притороченными за спиной. Все это стремилось к Закопане, в Татры, к озерам.

А на горизонте ласково маячили горы мягких, округлых очертаний.

Мелькали речушки среди плоских галечных берегов, поскутные одёяла польских полей, стога, похожие на монахов. Стали попадаться стайки гуралов в белых оперных костюмах, расшитых позументами, и в круглых шляпках.

Мы проехали Новый Тарг, Белый Дунаец, Поронино. Места эти овеяны именем Ленина. В деревянном доме, где он жил, все сохранено так, как было при нем: мебель, книги, на стене мслодое гордое лицо Надежды Константиновны.

По канатной дороге мы взвились на Каспровский Верх. Кристаллически чистый воздух резко вливался в грудь. Рядом извилистая линия чехословацкой границы. А далее те же горы, сколько видит глаз. Люди бродят молча, здесь не хочется говорить, а только смотреть, смотреть без конца на эту страну гор, чем-то мнится, похожую на лунный пейзаж.

Впрочем, какой-то немолодой толстяк повернулся спиной к горам и с карандашиком в руках вдохновенно углубился в журнал. Я не удержался и заглянул к нему через плечо. Черт побери! Здесь, на высоте двух километров, среди этой пронзительной красоты, он не нашел ничего более интересного, чем решать кроссворд.

На обратном пути мы посетили «Морское Око» — горное озеро, лежащее, как круглый изумруд, среди отвесных скал. Но почему «морское» да еще «око»? Нам рассказали, что раньше это озеро называлось просто «Рыбное озеро». А «Морским Оком» его окрестил некий писатель. Конечно! Узнаю моих собратьев по перу в этой страстишке к пышным выражениям.

Вечером мы вернулись в Краков. В модернистском костеле на краю города зажглись огни. Цветочницы уже ушли с площади Главного Рынка. Химеры на Сукеницах тарасили на нас свои зловещие глаза и корчили рожи. В вечерней тишине язвенно слышен был мелодичный сигнал горниста, трубящего каждый час

вот уже пятьсот лет. А говорят, что ночью, когда становится совсем тихо, сюда доносится мерный гул новохутинских домен и маргенов.

ОСВЕНЦИМ, ГОРОД СТРАДАНИЙ

Мы приехали в одно из самых удручающих мест мира, в Освенцим.

Он превращен в музей. Здесь все так, как было при гитлеровцах, нет только одного: гитлеровцев.

По верху ворот по-прежнему тянется выложенная железными буквами подлая ложь: «Arbeit macht frei»¹. Стоят молчаливые кроваво-красные корпуса, среди них позорно-знаменитый блок № 11 — блок смерти.

В Освенциме всегда толпы посетителей. Они прибывают со всех концов мира. Сквозь музей Освенцим прошло три с половиной миллиона человек — все еще меньше, чем прошло узников через лагерь Освенцим.

Сюда привозят экскурсии школьников. Дети вбегают, как всегда, веселые, со смехом. Я видел, как они постепенно утихают, как бледнеют их лица, как в глазах у ребят появляется ужас, потом гнев.

Музей не навязывает вам своих выводов. К чему? Они напрашиваются сами собой.

Никакое описание не может сравниться с зрелищем этой горы очков, или женских волос, или этого огромного дорожного катка, в котерый впрягали советских военнопленных. Они должны были тащить его бегом. Погонщик был немец-уголовник Кранкеман. Палкой он забивал узников насмерть.

Я прошел по всем блокам и тщательно осмотрел этот потря-

¹ «Работа делает свободным» (нем.).

сающий памятник страданий народов, многоз записал, даже снял небольшой фильм. Но я не буду здесь рассказывать об этих местах, пропитанных кровью. Это делали многие.

В одном польском еженедельнике, органе католических кругов, я наткнулся на рецензию о фильме «Нюрнбергский процесс». Автор перечислял мотивы преступлений фашистов. Тут и садизм, и презрение к иностранцам, и отсутствие совести, и привычка к повиновению, и еще, и еще... Но в этом обширном списке мотивов я не нашел самого могущественного.

Еще римское право предписывало при расследовании преступлений прежде всего определить: Cui prodest? (Кому это выгодно?)

«Когда не сразу видно,— писал Ленин,— какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгодно!».

До сих пор многих продолжает мучить загадка Германии: каким образом одно из самых цивилизованных государств мира породило чудовище фашизма, который самую преступность возвел в религию!

Кому это было выгодно?

В Европе было девятьсот гитлеровских лагерей. Если вам случится быть в Освенциме, не поленитесь взглянуть на карту их расположения. География лагерей свидетельствует, что они создавались возле немецких промышленных предприятий.

Почему с конца 1942 года резко усилилась ссылка в лагерь? По политическим соображениям? Нет, оказывается! Этого добивались немецкие предприниматели. Комендант Освенцима палач Рудольф Гесс показал на процессе: «Стоящие во главе предприятий лица из среды промышленников подчеркивали постоянно во время моих служебных поездок, что они хотели бы иметь больше узников».

Заклученные были чрезвычайно выгодной рабочей силой. Их рабочий день начинался в 4 часа 30 минут утра и длился до ночи. Я опускаю ужасающие подробности условий этой работы. Упомяну только, что ежедневно во время этого рабского труда умирали сотни заключенных. Сохранились отчеты концерна «ИГ Фарбениндустри». В одном из таких отчетов за период от 8 до 21 февраля 1943 года главный инженер концерна Макс Фауст отмечает, что эсэсовцы обязались «устранить всех слабых узников». На языке эсэсовцев «устранить» означало удушить в газовых камерах. На место «устраненных» немецкие промышленники покупали в лагерях новых узников. [Кстати, об инженере Фаусте: он жив и продолжает как ни в чем не бывало служить в одной из фирм-наследниц «ИГ Фарбениндустри».]

Слова «покупали узников» употреблены не в фигуральном смысле. Освенцим и другие лагеря были настоящим невольничьим рынком. Представитель фирмы сам отбирал заключенных, интересуясь их специальностью и мускулатурой. Фирма платила лагерю 4 марки за рабочий день квалифицированного работника и 3 марки за неквалифицированного. Расходы фирмы на содержание узника составляли 30 пфеннигов в день. Из одного сохранившегося счета видно, что Освенцимский лагерь получил за семимесячный труд заключенных около тринадцати миллионов марок. Сделка считалась выгодной и для продавца и для покупателя.

Кто же был покупателем? Самым крупным — химическая империя «ИГ Фарбениндустри», обладавшая многочисленными шахтами и заводами. Один из них, принадлежавший дочернему предприятию концерна, фирме «Регеш», производил циклон Б — препарат синильной кислоты. По сохранившимся счетам фирмы видно, что чистая прибыль от производства этого яда в 1941 году составила около 46 миллионов марок, а в 1943 году выросла до 128 миллионов марок! Циклон Б употреблялся для умерщвления

заключенных в газовых камерах. Выработывался он руками заключенных. Садизм! Коммерция!

Кроме концерна «ИГ Фарбениндустри» белых рабов у эсэсовцев покупали и другие фирмы: Крупп, Сименс, «Герман-Геринг-Верке», граф Балленстрем, «Унион», князь фон Плесс, «Дейче Эрд унд Штайн Верке» («ДЕС»), «Дейче Аусгюстунгсверке» («ДАВ») и другие.

Фирма «Байер» покупала узников для производства над ними медицинских опытов. Сохранилась деловая переписка фирмы с комендантом Освенцима. Вот извлечения из нее:

«Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы в связи с предположенными опытами для испытания нашего нового снотворного средства предоставили нам определенное количество женщин».

«Мы получили Ваш ответ. Цена 200 марок за одну женщину кажется нам, однако, высокой. Мы предлагаем не свыше 170 марок за голову. Нам нужно приблизительно 150 женщин».

«Опыты закончены. Все женщины умерли. Вскоре мы снесем-ся с Вами относительно новой доставки».

Эта чудовищная переписка найдена в делах Освенцимского лагеря и приведена профессором доктором Я. Ольбрихтом в № 3 журнала «Пшеглэнд Лекарски» за 1946 год на странице 3-й.

Фирма «Алекс Цинк» (заводы по переработке волос в Баварии и Силезии) приобретала у лагерей женские волосы. Фирма платила 50 пфеннигов за кило. Было куплено, таким образом, 140 тонн. Последние семь тонн фирма не успела вывезти, и часть их экспонируется в Освенцимском музее так же, как приготовленные из них фирмой циновки, маты, портняжный волос и другие изделия.

Фирма «Штрем» покупала в Освенциме молотые человеческие кости для промышленной переработки. Из найденных в лагере документов видно, что фирме было выслано свыше ста тонн костной массы.

Драгоценности и валюту, отнятые у заключенных, продавали в Швейцарию. Швейцарский рынок был в годы войны завален ювелирными изделиями.

Часы продавали эсэсовцам и армии. Одежду и белье — фольксдейчу и предателям.

Но не довольно ли этих потрясающих сведений! Не ясно ли, что Освенцим, как и другие фашистские концлагеря, был колоссальным коммерческим предприятием по продаже людей, их вещей и даже их останков! О размахе этого предприятия можно судить по тому, что одних только поляков в гитлеровских лагерях и тюрьмах погибло около пяти миллионов.

Мы покинули Освенцим — польский литератор Игнатий Шенфельд и я. Мы решили пойти до станций пешком: хотелось развеять тягостные впечатления. Мы шагали по булыжному шоссе среди болотистых равнин Освенцима. Вечерело. Над сырыми низинами подымались пары. Нас обгоняли автобусы, уже зажигавшие огни. Мы шли молча, говорить не хотелось.

Первым прервал молчание мой спутник, человек общительный, веселый. Ни мрачные картины Освенцима, ни жизненные испытания не могли затмить его радостного духа.

— Вы удовлетворены! — спросил он.

— Да. Потому что я получил ответ на свой вопрос. Садизм, издевательство, бесчувственность — и это все было, конечно. Но это болотные цветы, которые порождает самый безнравственный из всех мотивов человеческого поведения — выгода, нажива...

НЕМЦЫ

Вдруг наступает момент, когда чувствуешь, что вдоволь насыщен знанием материала. Папки мои были полны записями бесед с героями событий, копиями уникальных документов, выписками из судебных отчетов. Я исходил места боев. Осмотрел са-

модельное оружие повстанцев. Там среди прочего был четырехствольный гранатомет, гранаты «филиппинки» и «сидолувки», станок, на котором тайно изготавливали автоматы на фабрике металлических кроватей.

Я проштудировал газеты варшавского восстания. Их выходило тогда не менее трех десятков, среди них несколько коммунистических. Дух и быт эпохи явственней всего встает из этой необыкновенной прессы. Просмотрел немецкие кинохроники тех дней. В моих руках побывали даже такие редкостные вещи, как письма и дневники немцев, сражавшихся с повстанцами.

Теперь я мог с полным правом сказать, что видел все о варшавском восстании, за исключением разве живых немцев, подавлявших его. Но судьбе, которая благоприятствовала мне в этой поездке, угодно было, чтобы я увидел и это.

Я пришел в Исторический музей города Варшавы. Конечно, и на нижних этажах есть интересные экспонаты, к примеру редчайшие портреты мазовецких князей или гончарная печь XVII века и многое другое. Но меня влекло наверх, в зал, посвященный борьбе с немецкими оккупантами.

Вот стенд, на котором лежит грудка денег. Этот экспонат напоминает об ослепительно смелой акции «Гураль»: 12 августа 1943 года, в 11 часов 17 минут утра, в центре Варшавы несколько подпольщиков отбили у немцев транспорт со 105 миллионами злотых. А вот документы, относящиеся к другой, не менее знаменитой акции — уничтожению начальника СС и полиции Варшавского округа кровавого палача Кутшеры.

Я углубился в изучение развешанных здесь схем боев на улицах столицы.

В это время я услышал немецкую речь. Оглянулся. Это была группа туристов. Они молча и даже с каким-то торжественным видом рассматривали эти многочисленные свидетельства борьбы с их соотечественниками. Гид, пожилая женщина, бормотала объ-

яснения, подбирая дипломатические выражения. Ни один вопрос не перебивал ее. Только высокий сутулый старик, опиравшийся на палку, качал головой, не то подтверждая слова гида, не то сокрушаясь.

Я подошел к интересовавшему меня стенду, вынул блокнот и карандаш и принялся срисовывать схему уличных боев в районе Старого Мясца. Вдруг тихая немецкая речь прошелестела рядом со мной. Двое немцев разглядывали схему, и я услышал, как один из них прошептал:

— Я был здесь тогда...

А другой, ткнув пальцем в схему боев на Повислье, так же тихо сказал:

— А я здесь...

Признаюсь, с этого момента я больше смотрел на немцев, чем на экспонаты. Может быть, этот, благообразный, с застывшей, ничего не выражающей улыбкой, долбил отверстия для мин в жилых домах? А этот, рыжий, как пиво, с прямой спиной военного, подрывал памятник Шопену в Лазенковском парке? А этот высокий старик с палкой, рассудительно качающий головой, поливал огнем музей Барычков на Старом Мясце?

Шумно шагая, эти живые экспонаты наконец покинули зал, сохраняя все тот же замороженный вид.

Работники музея подтвердили мне, что это туристы из Федеративной Германии.

Я увидел их еще раз. Они шли не торопясь по улицам Варшавы. По-прежнему лица их выражали бесстрашие, а кой у кого вежливый интерес. Но за этим нетрудно было различить удивление, с каким они посматривали по сторонам. Уж, кажется, в свое время потрудились на совесть, камня на камне не оставили от Варшавы,— а глядите, что делается! Как будто их и не было тут...

Высокий старый немец шел несколько поодаль, тяжело опираясь на палку. А рядом, оживленно беседа, шла пани Янина

Прох. Она окликнула меня и познакомила со своим спутником. Обменявшись несколькими незначущими фразами, Янина Прох и немец вернулись к разговору, прерванному моим появлением. Насколько я мог понять, немец жаловался на настроенное отношение поляков к его соотечественникам.

— Во-первых, для этого есть некоторые основания,— не без язвительности отвечала пани Янина.— А во-вторых, после войны один из первых голосов в защиту немцев раздался все-таки в Польше.

— Как так! — нахмурился немец.

— Я говорю о пьесе Леона Кручковского «Немцы». Вы согласны со мной?

Последний вопрос относился ко мне.

— Да,— сказал я.— Это был поступок бесстрашного и умного писателя.

— Тем более! — воскликнул немец.— А я вам скажу еще и другое. Мы были сегодня в Еврейском историческом музее. И видели там эти железные банки с архивом Рингельблюма. Слыхали о них?

— Ну как же! — сказала пани Янина.— Потрясающая вещь!

Я тоже видел эти ржавые банки, набитые мелко исписанной пожелтевшей бумагой. Их нашли под развалинами Варшавы. Доктор Рингельблюм в течение ряда лет вел ежедневные записи. Полнотой сведений, тщательностью описаний, обилием бытовых подробностей да и просто интересными мыслями записки Рингельблюма превосходят известные дневники и Анны Франк и Давида Рубиновича. Когда один польский историк ознакомился с содержимым этих заржавленных банок, он воскликнул: «Это похоже на бутылку с тонущего корабля!»

— Уж кто-кто, а Рингельблюм не дал бы немцам спуска, веркэ! — продолжал старик.— А значит, тем более ценна его записка — помните! — о немце в городе Коньске, который плакал

при виде страданий, причиняемых фашистами. И еще — о немецких рабочих в городе Старограде, которые тайком приносили продовольствие семействам, укрывавшимся от эсэсовцев. А! Помните! А разве не было в Освенциме немецких узников? Политических? Были! И они принимали участие в подпольной международной организации вместе с французами, русскими, чехами, поляками. И погибали... Наконец, Янина, неужели вы забыли немцев, которые, рискуя своей жизнью, спасали польских подпольщиков! А, Янина!

— Я ничего не забыла,— сказала она тихо.

Старый немец посмотрел на меня.

— Ваша страна,— сказал он,— бьется за мир. Важнее нет дела на земле. Я утверждаю, что со времени появления Христа не было в мире более сильного духовного движения, чем борьба за мир. В него включаются миллионы людей. И я молю бога, потому что я верующий, чтобы ваша страна не ослабила борьбы за мир.

— Ну, а у вас там...— начала пани Янина.

— А! — перебил ее старик, махнув рукой.— У нас! У нас, к вашему сведению, торгуют всюю реваншизмом. Ходкий товар! Идет и оптом и в розницу... Ну конечно, и мы кое-что делаем. Но трудно. Очень трудно. Там, в Восточной Германии, иначе. Им легче. И вам, полякам, легче. А мы... Но ничего, кое-что все-таки делаем. Ведь мы, старики, все помним. Молодежь... Есть и хорошая, конечно. Но она не чувствует ответственности за все, что было...

Он замолчал, усмехнулся и сказал просто, без всякого вызова:

— А все-таки я тоже не чувствую себя ответственным...

— И правильно,— сказала пани Янина серьезно.

— Правильно! — переспросил старик.— А вот Томас Манн, самый большой немец нашего века и самый большой враг фа-

шизма, знаете что сказал! «Если ты родился немцем,— значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой и немецкой виной». А вот я,— продолжал старик,— считаю, что не может быть у народа круговой поруки. Что ж, я не немец!

Он вдруг всполошился, заметив, что его спутники далеко ушли вперед.

— Ох, я оторвался от своих! — Он усмехнулся с горечью.— Это, видно, моя судьба: всю жизнь я отрываюсь от своих...

Янина взяла его под руку.

— Ну,— сказала она,— вы немец больше, чем все они, вместе взятые.

Слова эти поразили меня: где-то я их слышал уже. Но где?

Старик прощально махнул рукой и быстро зашагал вперед, стуча палкой.

Я вдруг вспомнил.

— Так, значит, это он! — сказал я.

— Он,— подтвердила она.— Узнали! По моему рассказу?

— Вот только сейчас. Но как же он нашел вас! Он ведь и имени вашего, кажется, не знал!

— Не знал. Но найти меня оказалось не так уж трудно. Это во время войны мы все теряли. А сейчас время находок. Он помнил ту операцию, ее место, ее время. И через наш Союз борцов за свободу и демократию добрался до меня...

СНОВА В ВАРШАВЕ

Когда из поездки по стране я вернулся в Варшаву, осень была в полном цвету. Иногда небо хмурилось, и тогда Дворец культуры вонзал свою иглу в тучи. Но большей частью было солнечно, и мы упивались очарованием варшавской осени.

Легкое небо, невдалеке голубеет Висла, на всех перекрестках горы яблок и груш. Их было так много и они были так дешевы,

что на ночь их не убирали, и, шагая по кочной Варшаве, вы всюду видели эти никем не охраняемые желтые, коричневые, золотые холмы плодов, над которыми витал тонкий, чуть пряный запах.

И цветов было много. Любимые цветы варшавян — розы и гвоздики. Но в эти дни было больше всего астр и хризантем.

А в центре города, на улице 1-й Польской Армии, как в дубраве, под ногами валялись желуди. Эта короткая широкая улица, обсаженная дубами, была бы прелестна, если бы не горькие мысли, которые она возбуждала. Здесь помещалась гестапо. Аллеей Шуха называлась раньше эта улица. Все дома здесь сохранились, потому что немцы уходили отсюда в последний момент и не успели ничего разрушить. В министерстве народного образования (оно и сейчас здесь) был застенок. Он превращен в музей фашистской жестокости и польских мук.

На Аллеях Уяздовских ветер гонит по тротуару лапчатые листья каштанов. В Лазенковском парке разлив красок, деревья в желтом, красном, багряном, алом, пурпурном, карминном, рубиновом цвету. Убор их еще пышен, но дорожки уже застланы палым листом; от него несет ароматным, чуть горьковатым запахом винного погреба. За прудом, глядясь в воду, белеет «рококошный» дворец короля Станислава-Августа Понятовского, восстановленный, как и все варшавские древности, с педантичной тщательностью. Единственное здание, которое немцы здесь не разрушили, — это копия руин древнего храма в Баальбеке (Сирия). Гитлеровцы по своему невежеству сочли, что он уже разрушен.

Плывут по пруду раскормленные лебеди, в каштанах прыгают белки. Дети, с веселыми криками мелькающие меж деревьев, студенты, дремлющие над курсом лекций, стайки пенсионеров, азартно обсуждающих мировые дела, — все это в ласковой рамке осени выглядит необыкновенно мирно.

Так же мирно на Костюшковской набережной, по которой я,

сделав солидный крюк, возвращаюсь к себе. Широко, покойно течет Висла. Против течения, посапывая, ползет белый колесный пароходик, точно выехавший прямо из повестей Марка Твена. Чайки косо скользят на распластанных крыльях. Шелестят каштаны. Чугунная Сирена, монументальная эмблема Варшавы, величественно озирает свой город. Все так безмятежно!

Но неусмирное воображение выуживает из недр памяти другую Вислу. Лед. Пробойны от снарядов. Быки взорванных мостов. И мы на броне самоходки мчимся в варшавский хаос по какой-то гористой извилистой улице. Может быть, по этой, по Лещинской, которую я сейчас медленно преодолеваю! Потом по петливой поэтической Каровой улице выхожу на Краковское предместье.

Иногда я уходил в Саксонский сад ловить уходящую осень. А она медлила, не хотела расставаться с Варшавой. Саксонский сад далеко не так цел, как Лазенки. Павильон над могилой Неизвестного солдата полуразрушен и намеренно не восстанавливается, ибо это разрушение — тоже памятник. Гитлеровцы вырубili здесь восемьдесят процентов деревьев. Решетки вокруг сада нет — той самой, на которую опирался когда-то Александр Блок. И потом писал в планах поэмы «Возмездие»:

«Я стою ночью у решетки Саксонского сада и слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную мазурку. Над Варшавой порхают боевые звуки...»

Много боевых звуков слышала с тех пор Варшава. Но прошли годы, и снова выросли деревья в Саксонском саду, и мифологические богини снова глядят со своих пьедесталов на детей, играющих в войну у могилы Неизвестного солдата. Сюда привезена земля из всех стран, где поляки сражались с фашистами за свободу мира, — земля Тобрука и Нарвика, земля Ленино и Гвадалахары, земля Арнема и Пущи Кампиносской.

Могилы павших в бою с фашизмом разбросаны по всей Варшаве. Над ними огни, цветы, памятные доски. В назначенные дни здесь стоят в почетном карауле не только солдаты, но и юные пионеры. Так сызмала воспитывается уважение к старшим поколениям, положившим жизнь за свободу, за счастье родины. Это хороший обычай, он достоин подражания.

Ночью Варшава светла. В среднем житель Польши, так называемый «статистический поляк», потребляет сейчас в девять раз больше электроэнергии, чем до войны. Очень ярко газосветные уличные фонари. Много света прибавляют неоновые рекламы, хотя надо сказать, что иногда они впадают в безвкусицу, как, например, огромные бесформенные неоновые цветы над цветочным магазином на перекрестке улиц Круча и Аллеи Ерозолимские. В Катовицах рекламные огни гораздо изящнее и изобретательнее.

В Варшаве множество кафе. В редакции одного журнала я познакомился с литератором, который оказался великим знатком варшавских кафе, а также баров, винных лавок и ресторанов. Он вызвался познакомить меня с этой стороной Варшавы. Он рассказывал о ней очень увлекательно, почти вдохновенно, с большим знанием дела, с экскурсами в область истории, даже с цитатами из классиков. Но мне не пришлось пройти по этому пути. Не потому, что я им пренебрегаю. Но я приехал в Польшу всего на один месяц, и более могущественные интересы владели моим временем. Поэтому я почти ничего не могу рассказать о варшавских кафе, барах, винных лавках и ресторанах.

Население Варшавы уже перевалило за миллион. Быть может, для европейской столицы это не так уж много. И это меньше, чем жило в Варшаве до войны. Но какая еще европейская столица была сметена с лица земли? 835 тысяч жителей Варшавы были арестованы и вывезены в лагеря, тюрьмы и на принудительные работы. 165 тысяч варшавян были ранены в боях и из-

увечены в пытках. И 700 тысяч варшавян были убиты. По статистике Организации Объединенных Наций, из всего населения Варшавы в боях за город и в концлагерях погибло свыше 850 тысяч человек.

И вот этот опустошенный и уничтоженный город стал наполняться людьми в поразительных темпах. Утром 17 января Варшава была пуста. Через две недели здесь уже жило 174 тысячи человек. Через месяц — 241 тысяча. Через год — 486 тысяч. Через четыре года — 605 тысяч. А сейчас вдвое больше — 1 200 тысяч. Прописанных!

Этот чудесно возрожденный город вызывает острый интерес во всем мире. В Варшаве всегда много иностранных туристов. А среди этих иностранцев немало поляков, живущих за границей. Любопытство и тоска влекут их на старую родину. Польское население за границей велико: в США живет около шести с половиной миллионов поляков, во Франции — около 750 тысяч, в Бразилии — около 400 тысяч, в Канаде — свыше 250 тысяч и т. д.

Мне как-то показали в Варшаве старого поляка, туриста из Америки. Это было возле площади Трех Крестов, у стоянки конных экипажей (их еще с десяток-другой наберется в Варшаве). Старый американский поляк уселся в высокий фэзтон с кожаным верхом и медными фонарями по бокам и заказал прокатить себя по улицам, восстановленным в староваршавском облике. Возница, такой же старый, как и пассажир, залихватски гикнул дребезжащим голосом, и ревматический одер поплелся по польской столице. Проезжая мимо разрушенных домов или, наоборот, мимо новых, бывший поляк зажмуривал глаза. Это было путешествие в прошлое. Извозчик был использован как машина времени.

Варшава растет, словно ее подкармливают пищей богов, как в романе Уэллса, то есть фантастично. Невозможно сомневаться, что Варшава будет прекрасна. Но уже и сейчас в этом городе,

не достроенном еще как следует, не слепленном, с лицом переменчивым, в котором не все черты еще ясны, есть неотразимое очарование.

В чем оно?

Самое трудное (и в человеке тоже) — определить природу обаяния.

Все же я думаю, что в облике Варшавы нас привлекают и ее героическая история, и прелесть ее черепичных крыш, новостроек, дворцов и каштанов, и весь этот сплав гордости и горечи, отваги и юмора, упорства, изящества и революционного пыла, которые и есть судьба и нрав Варшавы.

**Славин
Лев Исаевич**

ПОРТРЕТЫ И ЗАПИСКИ

М., «Советский писатель», 1965, 256 стр.
Тем. план вып. 1965 г. № 365

Редактор Ю. Б. Рюрик
Художник В. Б. Эльконин
Худож. редактор В. И. Морозов
Техн. редактор Р. Я. Соколова
Корректор В. Н. Стаханова

Слано в набор 4/1 1965 г.
Подписано к печати 24/V 1965 г.
А 02309. Бумага 70 × 108^{1/32}.
Печ. л. 8 (11,2). Уч.-изд. л. 11,3
Тираж 75 000 экз. Заказ № 198.

Цена 40 коп.

Издательство «Советский писатель» Москва К-9. Б. Гнездииковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати

г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

Отпечатано с матриц Тульской типографии в типографии им. Володарского
Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57

Зак. 1417.